



НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА **НБ**

И.С. Нечуй-Левицкий

СЕМЬЯ КАЙДАША

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА

И. С. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦКИЙ
СЕМЬЯ КАЙДАША

ПОВЕСТЬ

*Перевод с украинского
Н. Трофимова*



Издательство
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1969

С (Укр) 1
Н59

Вступительная статья
ЛЕОНИДА ХИНКУЛОВА

Художник
И. В. ЦАРЕВИЧ

7—3—3
98—68

МАСТЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ

Классик украинской литературы Иван Семенович Нечуй-Левицкий, выступавший под псевдонимом Нечуй, прожил долгую жизнь. Родился он в 1838 году, в том году, когда молодой крепостной художник и поэт Тарас Шевченко усилиями друзей был выкуплен на свободу; умер в 1918 году, то есть уже после победы Октябрьской революции, в дни борьбы за Советскую власть в Киеве. И в эти восемь десятилетий укладывается чуть ли не вся история новой украинской литературы: за этот сравнительно короткий исторический срок украинская литература совершила путь от раннего сентиментализма — через расцвет критического реализма — к зарождению реализма социалистического.

Естественно, что разные направления в украинской литературе при этом переплетались и хронологически совмещались: после появления первого шевченковского «Кобзаря» на протяжении целых десятилетий в изобилии печатались сентиментальные, перенасыщенные этнографизмом стихи и поэмы, после «Бориславских рассказов» Ивана Франко долго еще продолжали появляться сентиментальные хуторские повести, и даже после того, как уже сверкнули необычайным и совершенно новаторским (в масштабе мировой литературы!) блеском драмы Леси Украинки и новеллы Михаила Коцюбинского, страницы украинских изданий и украинская сцена долго еще находились в плесну произведений, которые условно можно назвать «старомодными», хотя нередко и они со значительной долей

правдивости отражали реальную действительность и социально-историческую обстановку.

Речь, разумеется, идет не о бездарных эпигонах, которых в любой литературе и в любой период бывает достаточно, а о писателях несомненно талантливых, но сохранявших в силу ряда причин инерцию, традиционализм художественного метода. Ведь известно, что даже в творчестве одного писателя можно подчас встретиться с различными творческими тенденциями, обусловленными и кругом изображаемых явлений, и ориентировкой на определенную категорию читателей, и многими другими обстоятельствами.

Сказанное относится, в частности, и к весьма обширному и разнообразному литературному наследию И. С. Нечуя-Левицкого.

Жизненный путь писателя, почти лишенный резких поворотов и памятных событий, изображен им в очерке под заглавием: «Жизнеописание Ивана Левицкого (Нечуя), сочиненное им самим».

Отец Нечуя, сельский священник в Стеблеве (Киевской губернии, между Каневом и Звенигородкой; ныне — Черкасская область), привив сыну еще в раннем детстве любовь к литературе, истории, к украинскому народному творчеству, отдал его учиться сначала в Богуславское духовное училище, а затем в Киевскую семинарию. Уже в то время мальчик очень много читал — и по-русски, и по-украински, и по-французски, хорошо был знаком с произведениями не только Пушкина, Гоголя, Шевченко, а и Лесажа, Шатобриана, Сю, прочел во французских переводах «Божественную Комедию», «Дон-Кихота».

В 1861—1865 годах И. С. Левицкий учился в Киевской духовной академии. «Тогда было горячее время в русской литературе, — вспоминал он впоследствии. — Вышел «Базаров»¹ Тургенева и критика на него Писарева. «Основа»² очень расшевелила украинский вопрос. Студенты чрезвычайно всем этим интересовались, и спорам не было конца».

Движение шестидесятых годов глубоко не захватило Левицкого, но оставило след на всем его дальней-

¹ Имеется в виду роман «Отцы и дети».

² «О с н о в а» — украинский журнал буржуазно-либерального направления, выходил в Петербурге в 1860—1861 годах.

шем творчестве. Никогда не изменявшее писателю обостренное внимание к социальным проблемам, к общественной жизни, к нуждам и стремлениям трудовых классов имело свои истоки и в живой действительности, и в современной ему передовой литературе.

Целых двадцать лет после окончания Киевской духовной академии Левицкий учительствовал в средних учебных заведениях Полтавы, Калиша, Седлеца, Кишинева. К этому периоду относится и начало его литературной деятельности. В эти же два десятилетия писатель опубликовал лучшие свои повести: «Две солдатки» и «Рыбак Панас Круть» (1868), «Придира» (1869), «Черные тучи» (1874), «Баба Параска и баба Палажка» (1874—1875), «Микола Джеря» (1878), «Семья Кайдаша» (1879), «Бурлачка» (1880), «Старосветские батюшки и матушки» (1884—1885). Тогда же написана была и комедия «На Кожемяках» (1875), получившая большую сценическую популярность на Украине в обработке М. П. Старицкого: «За двумя зайцами» (в советское время экранизирована в звуковом кинофильме).

Уже в семидесятые годы за Левицким постоянно следила полиция: по агентурным сведениям, он руководил каким-то нелегальным кружком молодежи, поддерживал связи с «государственным преступником М. П. Драгомановым» (уволненным в 1875 году из Киевского университета «за политическую неблагонадежность» и вскоре эмигрировавшим), печатал свои статьи в женевском издании Драгоманова «Громада».

Начальник бессарабского жандармского управления сообщал департаменту полиции: «Весной 1879 г., когда в Кишиневе распространены были сходки молодежи, велась расклейка и рассылка прокламаций, а вслед за тем начались административные высылки,— в то время обратил на себя внимание... Иван Семенович Левицкий как закоренелый хохломан».

Таким образом, внимание и недовольство властей вызвали прежде всего украинофильские взгляды Левицкого, который еще в шестидесятые годы испытал немалое воздействие буржуазных националистов. В этом отношении значительное влияние на молодого Левицкого, как уже отмечалось, оказал журнал «Основа» и один из его редакторов — П. А. Кулиш.

В 1885 году И. С. Левицкий вышел в отставку и с тех пор безвыездно жил в Киеве.

Высказывалось предположение, что отставка его была вызвана тем же вниманием полиции и неудовольствием начальства, что сценка изгнания со службы главного героя повести «Над Черным морем» (1890), учителя гимназии украинофила Комашко, носит автобиографический характер.

Трудно сказать, насколько это соответствует действительности, но надо полагать, что печатавшиеся во львовских изданиях произведения Нечуя не оставались секретом для департамента полиции и могли свидетельствовать о его «неблагонадежности».

Вместе с тем известно, что с выходом в отставку Нечуй-Левицкий окончательно отошел от какой бы то ни было общественно-политической деятельности, а в его литературных выступлениях все сильнее стали проявляться консервативные идеи.

Жизнь писателя в Киеве на протяжении трех десятков лет сохраняла раз навсегда заведенные патриархальные формы. Об Иване Семеновиче, о его отрешенности от общественных интересов ходило, как свидетельствуют киевские старожилы, множество рассказов анекдотического характера. Так, говоря о его привычке в точности придерживаться установленного режима и во что бы то ни стало ровно в девять часов вечера ложиться спать, один из старейших украинских советских писателей, Евгений Кротевич, например, вспоминает, что на своем торжественном юбилее, отмечавшемся в 1904 году, Нечуй-Левицкий в девятом часу поднялся и, не обращая внимания ни на поздравительные речи, ни на уговоры присутствующих, заявил: «Уже скоро девять часов», — и спокойно отправился домой.

Необычайно тонко определил противоречивость всего облика Нечуя-Левицкого Иван Франко, очень высоко ставивший его реалистическое мастерство. В статье «Юбилей Ивана Левицкого (Нечуя)» он писал:

«Читая его повести, наблюдая широкие взмахи его руки, широкий абрис его рисунка, я представлял себе их автора сильным, дородным мужчиной, исполненным жизненной силы и энергии. Между тем я увидел маленького, сухощавого, слабосильного человечка, кото-

рый... производил впечатление пичужки, родившейся в клетке, так что пустите ее на свободу, и она попорхает, попорхает, да и назад возвратится в свою клетку».

Иван Франко имел в виду, надо полагать, не только и не столько противоречие между могучим духом и физической немощью, сколько внутренние противоречия самого писателя, создающего правдивые, смелые художественные картины социальной действительности и в то же время пребывающего в плену идейной ограниченности и социального филистерства.

«Победа реализма», о которой говорил Энгельс, реализма, который «может проявиться даже независимо от взглядов автора»¹, — вот что отличает лучшие произведения Нечуя-Левицкого.

Особенно широко и правдиво рисует писатель близко, в деталях знакомую ему с детства тяжелую, беспросветную жизнь крестьянства: и дореформенную («Две солдатки», «Микола Джеря») и пореформенную («Бурлачка», «Семья Кайдаша»).

Безземельная беднота, замученные непосильной барщиной крепостные или эксплуатируемые на капиталистических промыслах, на фабриках и заводах, бесправные, забытые «заробитчане» (то есть крестьяне, ушедшие из своего села на заработки); нищета, темнота, бесчеловечная солдатчина, жестокость и помещиков, и управляющих, и арендаторов, и урядников, и попов — такова у Нечуя-Левицкого страшная, гнетущая действительность украинского села, имеющая много общего с картинами Тараса Шевченко, Марка Вовчка, Панаса Мирного, Ивана Франко. В дальнейшем ту же реалистическую традицию в изображении крестьянства на Украине продолжили Коцюбинский, Тесленко, Стефаник, Черемшина...

Одной из лучших крестьянских повестей Нечуя-Левицкого, одним из украшений украинской литературы, по справедливому отзыву Ивана Франко, является «Семья Кайдаша».

Нужно сказать, что эта повесть стоит несколько особняком в ряду других подобных произведений Нечуя. Во-первых, в ней почти не освещается тема

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 37, изд. 2-е, стр. 36.

эксплуатации и страданий народа: автора интересует главным образом аспект собственнической, буржуазной природы пореформенного крестьянства. Во-вторых, в «Семье Кайдаша» с особой рельефностью выступает сатирическая сила разоблачения, присущая, как известно, и некоторым другим, менее крупным вещам писателя (например, циклу о бабе Параске и бабе Палажке). В-третьих, в повести о Кайдашах, в отличие от многих других его произведений, совсем нет элемента светлой перспективы, веры в победу добра над злом, нет и «положительных» образов, которым можно было бы симпатизировать.

Но именно в «Семье Кайдаша» Нечую-Левицкому удалось не только правдиво раскрыть быт и социальные отношения украинского пореформенного села, но и создать типичные образы мелких собственников, показать с необычайной яркостью их психологию, характерную для всех этапов развития буржуазного общества.

Старик Омелько Кайдаш, его окривевшая в семейных баталиях жена Маруся, оба сына — старший Карпо и младший Лаврин, невестки Мотря и Мелашка — все они, каждый по-своему, олицетворяют самые дикие черты мелкобуржуазной психологии.

Да и не одни Кайдаши: и зажиточные родители Мотри Довбыш, и бедняцкая семья Мелашки Балаш также отравлены этим ядом частной собственности, также ведут нескончаемую битву во имя клочка огорода, полусасохшей груши, десятка яиц.

Только категории «мое» и «твое» воплощают все нормы их взаимоотношений. И когда речь заходит о том, что надобно исправить неудобную часть проезжей дороги, где все ломают свои телеги, то эта общая задача оказывается невыполнимой в силу того, что никто не желает приложить *свой* труд там, где это нужно *всем*.

«Все село ездит через гору, а я буду ее раскапывать!» — возмущенно восклицает Карпо Кайдаш.

Только «богатством» и «бедностью» определяется здесь ценность человека. Исходя из этого критерия, судятся и лица и поступки. Вокруг этой проблемы возникают все конфликты и недоразумения, ею же руководствуются герои во всем своем поведении, во всех своих нравственных посылках. В результате их жизнь

превращается в непрерывную цепь раздоров и стычек. Они сами теряют человеческий облик, как потерял его «глава семьи» — темный, опутанный суевериями и сломленный алкоголем Омелько Кайдаш; лишена элементарных материнских чувств злая, жадная, эгоистичная «мать семейства» Мария Кайдашиха.

Сыновья Кайдаша обуреваемы одной мыслью, одной целью: отделиться друг от друга и от отца с матерью, чтобы ничем друг другу не помогать, ни в чем друг от друга не зависеть. Им непременно нужно все отдельное, свое — и хаты, и лошади, и поле, и сад. Между старым Кайдашом и его сыном Карпом происходит характерное объяснение. Отец спрашивает своего первенца:

«— Карпо, а как же теперь у нас будет с хозяйством? Мотря только отделится со своими горшками, или же и ты думаешь выделиться со скотиной и полем?»

— Лучше, батя, совсем отделиться, со скотиной и полем, — ответил Карпо.

— Гляди, чтобы потом не жалел. До сей поры мы работали сообща, одной скотиной, а ты сам хорошо знаешь, что вместе и каша вкуснее, а гуща детей не разгоняет.

— Батя, да нас гуща уже давно разогнала! Как там будет, так и будет...»

Писателю прекрасно удалась характеры братьев: грубый и упрямый Карпо, веселый и общительный Лаврин — совсем не похожи друг на друга. Но они совершенно одинаково превращаются в лютых зверей, когда завязывается побоище из-за кур, хаты, чердака, посуды или кабана...

Пышный расцвет мелкособственнических чувств изображается у Нечуя-Левицкого как проявление самых отвратительных черт характеров его героев. Карпо бьет отца и мать, едва не задушив ее в свалке. Кайдашиха слышит от своего старшего сына пожелания вроде:

«Нате, ешьте меня, а не то я вас съем!»

Гоняясь с палкой за матерью, тот же Карпо выкрикивает:

«Не так мне матери жаль, как сапог!»

Под стать Карпу и его жена Мотря, взятая из зажиточной семьи Довбышей. Мотря — это подлинно

злой дух собственничества. Она, как правило, первая затевает все распри и сшибки, она требует полного раздела хозяйства, она же в разгаре рукопашной схватки выбивает глаз своей свекрови.

Да, мир собственников жесток и беспощаден.

Даже малолетние дети принимают в этих потасовках самое активное участие: они сызмальства входят во вкус непрерывного единоборства за частную собственность.

Робкая и богобоязненная жена Лаврина Кайдаша, Мелашка, сначала никак не могла тягаться с деспотичной Кайдашихой, с драчливой Мотрей и грозным деверем — Карпом. Она даже сделала неудачную попытку сбежать из семьи Кайдашей в Киево-Печерскую лавру. Но на последних страницах повести и эта тихоня в битве за потраву уже вполне овладела воинственными приемами остальных членов семьи.

Так раскрывает писатель страшную пропасть, к которой ведет человека рабство под ярмом частной собственности: теряется все человеческое, исчезает все гуманное, поднимают голос эгоизм, жадность, тупая скупость. Словно белка в колесе, мечется собственник в этом мире и не находит выхода.

Насмешек Нечуя не минуют и крестьянские религиозные верования и суеверия. Напомним, как изображает писатель знахарские заговоры бабы Палажки над больным Кайдашом:

«Помяни, господи, раба божьего Омелька да те книжки, что в церкви читают: ермолой, бермолой, савгирь и еще ту, что телятиной обшита... Наберу я в черепок фу-фу да вылью ее на раба божьего Омелька. Помилуй же его, господи, да тряхни ты его по бокам, по ребрам, по косточкам... Крест на мне, крест на спине, вся в крестах, аки овечка в репьях...»

По сути, ничем не отличается от всей этой «обшитой телятиной» премудрости и изображение богомолья в Киеве. Недаром из второго (киевского) издания повести выброшены цензурой десятки и десятки строк, в том числе и «крамольное» высмеивание попов и монахов. Во Фроловском монастыре монашка шепчет богомольцам из деревни:

«Жертвуйте на святые мощи, а деньги давайте мне в руки».

Женщины отдавали деньги монашке, которая проворно прятала их куда-то под черную рясу. Палажка задает вопрос:

«А покажут ли нам рясу господнюю и перья из крыльев архангела Гавриила?»

Монашка немедленно разъясняет:

«От перьев ключи находятся у матушки игуменьи. Вам не удастся сегодня посмотреть на них. А рясу господнюю я вам покажу».

Еще одна сцена: священник в церкви исповедует верующих; желающих много, и часть богомольцев повернулась, чтобы перейти в другую церковь; тогда священник бросил исповедовать какую-то бабу, обернулся и закричал на всю церковь:

«Куда же вы, бабоньки! Идите ко мне исповедоваться! У меня на копейку дешевле, чем у Мокрого Миколая. Возвращайтесь сюда! У меня исповедь дешевле и отпущение больше».

Сатирический лейтмотив «Семьи Кайдаша» — спор из-за груши, которую никак не разделят члены семьи. Груша эта вырастает в некий символ бессмысленной грызни и междоусобия.

Сохранились два авторских варианта концовки «Семьи Кайдаша». В первом читаем:

«Дело с грушей не кончилось и поныне. Груша все разрастается вширь и ввысь и родит очень обильно, как будто издевается над Кайдашами и их женами, а огромные, с кулак, груши и поныне дразнят маленьких ребятишек Лаврина и Карпа».

Позже писатель изменил окончание повести. И хотя мотивы этого изменения не могут считаться выясненными, однако же совершенно очевидно, что сатирическая острота оказалась в этом варианте значительно ослабленной:

«Дело с грушей закончилось совсем неожиданно. Груша засохла, и две семьи помирились. В обеих усадьбах наконец наступили мир и тишина».

Внимательный читатель и почитатель сатиры Сервантеса и Свифта, Диккенса и Гоголя, современник Салтыкова-Щедрина и Глеба Успенского, Нечуй-Левицкий сумел по-своему убийственным, безжалостным смехом заклеить пороки человеческие.

Несомненно, ближе всего автору «Семьи Кайдаша» — Гоголь. Притом — не творец «Ревизора» и «Мертвых душ», а пасечник Рудый Панько, создатель образов Солопия и Хиври Черевиков, Солохи и дьячка Осипа Никифоровича, с их ярким национальным, бытовым колоритом, с их характерной обстановкой и средой.

Нечую-Левицкому недостает гоголевской грациозной легкости, гармоничности; сатира Нечуя подчас тяжелеется натуралистическими деталями, а снисходительная ирония часто уступает место злому сарказму, — в ней, так сказать, больше соли и перцу, и это понятно: вся общественная атмосфера, весь социальный дух сатирических образов Нечуя уже отражает веяние новой эпохи, о чем Салтыков-Щедрин в конце шестидесятых годов писал: «Последнее время создало великое множество типов совершенно новых, существования которых гоголевская сатира и не подозревала».

Одна из черт своеобразия творческой манеры Нечуя-Левицкого заключается в том, что он, не чуждый сплошь и рядом даже прямого гротеска, тем не менее обычно сохраняет меру бытового правдоподобия и в самых сильных сатирических преувеличениях. Вместе с тем, оставаясь во многом верным последователем этнографических традиций Котляревского и Квитки-Основьяненко, Нечуй нередко снижает концентрацию своих разоблачений: он увлекается подробностями народных обычаев и обрядов, любит характерной внешностью, костюмами своих персонажей, особенностями их национального быта, привычек, широко использует готовые клише фольклорной, песенной образности и лексики. Все это создает в его произведениях (в одних — больше, в других — меньше) определенный фон того универсального «народолюбия», тех «рассыченных на патоке» (тоже словечко Щедрина!) описаний, против которых так решительно выступил уже Иван Франко, а затем — Коцюбинский, Стефаник, и многие другие талантливые украинские прозаики начала XX столетия. Для них Нечуй-Левицкий был уже во многом явлением исторического прошлого.

В творчестве Нечуя-Левицкого, пережившего и Ивана Франко, и Коцюбинского, и Лесю Украинку,

как бы смешались, переплелись разные эпохи истории и истории литературы. Даже в лучших его произведениях видны тенденции различных эстетических планов, можно сказать — различных литературных эпох. И эти противоречия творческого метода в конечном счете отражают противоречивость всего облика писателя, о которой говорилось выше и которую так точно охарактеризовал Иван Франко в своем высказывании.

Не будучи новатором в области художественного метода, Нечуй во всех своих произведениях следовал схеме старинного семейного романа с его неторопливой сменой поколений, свадьбами и крестинами, за которыми идут новые любовные встречи. Все же и в рамках этой схемы писатель сумел создать вполне индивидуализированные, типические характеры. А там, где эти характеры были им показаны в типической среде и в типических социальных отношениях, ему удалось внести значительный вклад в искусство критического реализма.

Творчество писателя оказало немалое влияние на все развитие украинской прозы, включая и прозу советскую. Красочность его диалога, точность обстоятельных описаний, разнообразие пейзажных зарисовок, наконец, богатый и чистый язык авторского повествования — все эти особенности произведений Нечуя-Левицкого делают их образцом в нашей классической литературе, и недаром они изучаются на Украине во всех средних учебных заведениях.

Лучшие реалистические произведения И. С. Нечуя-Левицкого, в том числе «Семья Кайдаша», по праву вошли в фонд украинской классической литературы как одно из ярких свидетельств победы художественной и социальной правды в передовом национальном искусстве.

Леонид Хинкулов

Недалеко от Богуслава, на берегу Роси, в огромной извилистой лощине, раскинулось село Семигоры. Лощина змеею вьется меж крутых холмов и зеленых террас; от нее, словно ветви дерева, во все стороны разбежались глубокие рукава и попрятались где-то в лесной чаще. На дне огромной лощины блестят ряды прудов, заросшие камышом и осокой, зеленеют левады. Столетними вербами обсажены плотины. Глубокая лощина кажется опоясанной бархатным зеленым кушаком, на котором, будто вправленные в зеленую оправу, сверкают украшения из серебра. У подножья холмов белеют два ряда хат, будто два ряда жемчужин на изумрудном поясе. Возле хат зеленеют роскошные старые сады.

На высоких холмах, окружающих лощину, будто море, играющее волнами, зеленеет старый лес. Взглянешь с высокой вершины на лес, и кажется, будто на холмы легла зеленая бархатная ткань, тысячами красивых складок, оборок и комков покрывшая узенькие овраги. В жаркий солнечный летний день вершины деревьев в лесу сияют, а в низине чернеют. Легкий сизый туман висит над долинами. Издали кажется, что эти долины дышат тебе в лицо прохладой, сыростью, манят в тень густого старого леса.

В глубокой впадине у подножья крутого холма, возле зеленой левады, стояла большая хата Омелька Кайдаша. Хата утопала в зелени старого сада. По всему двору раскинулись старые черешни, бросающие от себя густые тени. Вся усадьба Кайдаша, казалось, дышала прохладой.



В один из летних дней, накануне праздника святого Пантелеймона, Омелько Кайдаш сидел на табуретке в повети и мастерил. Большие ворота из прутьев были открыты настежь. Густая тень в повети при ярком солнце казалась черной. Как будто нарисованный на темном фоне, сидел Кайдаш в белой рубахе с широкими рукавами. Он строгал ось. Широкие рукава его рубахи, закатанные до локтей, обнажали большие, загорелые, жилистые руки. Его широкое лицо было худощавым и бледным, как у монаха. На сухом высоком лбу густо выступали мелкие морщины. На голове, как пух, торчали редкие курчавые с проседью волосы.

Возле сарая на току два молодых сына Кайдаша ремонтировали поды для стогов; жатва заканчивалась и подходило время свозить хлеб. Старшего сына Кайдаша звали Карпо, младшего — Лаврин. Сыновья Кайдаша были еще молоды; оба высокие, одинакового роста, с продолговатыми лицами, с длинными, тон-



кими, немного горбатыми носами и румяными губами. Карпо был широкоплечим, имел такие же, как у отца, острые карие глаза, бледное лицо. Нежные черты его бледного лица с тонкими губами таили в себе что-то суровое. А строгие темные глаза казались сердитыми.

Молодое продолговатое лицо Лаврина было румяным. Веселые, синие, как небо, глаза светились приветливо и ласково. Тонкие брови, небольшие русые кудри, тонкий нос, алые губы — все говорило о красоте молодого парубка. Внешне он был похож на мать.

Лаврин проворно счищал лопатой землю. Карпо едва-едва двигал руками, морщил лоб, словно сердился на свою тяжелую и тупую лопату. Веселому, шутливому младшему брату хотелось поговорить, а старший нехотя отвечал ему.

— Карпо, — спросил Лаврин, — а кого ты будешь сватать? Ведь накануне святого Семена отец, наверное, женит тебя.

— Кто подвернется, того и посватаю, — нехотя отозвался Карпо.

— Сватай, Карпо, Палажку. Во всех Семигорах лучшей не сыскать.

— Ну и сватай, коли тебе нужно, — ответил Карпо.

— Кабы меня женили, так я бы посватал Палажку, — сказал Лаврин. — У Палажки брови как шнурочки; моргнет, будто огнем обдаст. Одна бровь стоит вола, а другой и цены нет. Писаная красавица!

— Но ведь у Палажки глаза навывкате, как у жабы, а стан кривой, как у бабы.

— Тогда сватай Химку. Химка хороша, как пасхальное яичко.

— Ну и хороша! Ходит, будто в ступе горох толчет, а когда говорит, то носом свистит.

— Тогда сватай Вивдю. Чем она нехороша? Голосок тоненький, когда заговорит, будто свирель заигрывает, а кроткая, как овечка.

— Кроткая, как телка. А я люблю, чтобы дивчина немного брыкалась да чтобы сердце у нее было с перцем, — ответил Карпо.

— Тогда бери Химку. Эта как брыкнет, так сразу и перекувыркнешься, — сказал Лаврин.

— Но ведь у Химки глаза совиные, а своим курносым носом она чует, когда даже на небе пекут блины. А как идет, такие выкрутасы выделяет, будто решетом горох сеет.

Карпо вставил такое словцо, что отец перестал строгать и начал прислушиваться. Он смотрел на сы-

новой через плетенную из прутьев стену. Карпо и Лаврин стояли без дела и болтали, опершись на лопаты. Кайдаш поднялся с табурета и вышел из повети со стругом в руке. Старый Омелько Кайдаш был очень набожный, каждое воскресенье ходил в церковь, и не только к обедне, но даже к вечерне, говел два раза в году, льнул к духовенству, любил молиться и поститься, понеделничал и постился двенадцать пятниц в году перед некоторыми праздниками. В этот день была пятница, канун праздника святого Пантелеймона, которого люди очень почитали. Кайдаш не ел с самого утра; он верил, что, кто бдует поститься в эту пятницу, тот никогда не утонет.

— Ну что это вы стоите сложа руки, да еще и болтаете бог знает что? — обратился он к сыновьям. — Можно ли в такую пятницу языки чесать? Вы же знаете, что, кто сегодня будет поститься весь день, тот никогда не утонет и внезапной смертью не померет.

— Но в Семигорах и утонуть-то негде, ведь в наших прудах — старой жабе по колено, — ответил Карпо.

— Ну и сказал, дурак! Негде утонуть. Если богу угодно, то и в луже утонешь, — сказал отец.

— Разве только идя с корчмы... — сердито произнес Карпо, намекая тем самым отцу, что тот любит часто захаживать в корчму.

— Ты, Карпо, никогда не можешь удержать язык за зубами! Так и норовишь досадить мне горькими словами...

Кайдаш плюнул и ушел в поветь строгать ось.

Сыновья немного постояли молча, но погода опять заговорила, вначале тихо, а дальше все громче, а потом совсем громко.

— Карпо! — тихо начал Лаврин, большой поклонник красивых девушек. — Ты все же скажи: кого сватать будешь?

— Лучше отвяжись ты от меня, — тихо промолвил Карпо.

— Сватай Олену Головкивну. Олена круглая, как луковица, круглолицая, как полная луна; и щеки у нее будто яблоки, зубы как белая репа, коса как

пранник¹, девка здоровая, как тур, идет, так под ней земля дрожит.

— Тоже мне, хороша!.. Ее рожей хоть поросят бей; сама толстая, как бочка, а шея — прямо ободья на ней гни.

— Ну так сватай Одарку Ходаковну; она стройная, как береза, и гибкая, как лоза; личико нежное, тоненькое, будто шелковая ниточка; губы маленькие, как листочек мяты. С такого личика хоть воды напейся, а сама красивая, как в саду вишня, и тихая, как вода в колодце.

Старый Кайдаш даже сплюнул в сторону, а Карпо промолвил:

— Вот красавицу нашел! Да у нее лицо как щепка, фигура как мешалка, руки будто кочерги, сама как доска, а когда идет, то даже кости гремят.

— Ну и привереда ты! Тогда сватай Хотину Корчаковну. — И Лаврин засмеялся.

— Да ты что — одурел? Стоит Хотине выглянуть из окна, как на это окно три дня собаки лают, а на лице у нее будто черт семь копен гороху смолотил.

-- Ну тогда бери Ганну.

— Вот еще!.. Стану я брать такую бочку. Пока вокруг нее обойдешь, бублик съешь. А ходит-то как...

Тут Карпо вставил такое словцо, что богомольный Кайдаш сплюнул и опять выскочил из повети.

Парни стояли друг против друга, опершись на лопаты.

— Господи! Или у вас в сердце бога нет, что вы в святую пятницу сквернословите? Или вам помирать не придется, или вы святого солнышка на небе не стыдитесь? Какого лешего вы стоите сложа руки, делом не занимаетесь, а только языками черт знает что болтаете! — крикнул Кайдаш и начал подступать к сыновьям да размахивать стругом перед самым носом Карпа. Старик и без того был раздражен и зол, а тут совсем распалился потому, может быть, что с самого утра у него крошки во рту не было.

— Отец! — вызывающе сказал Карпо. — Ведь вы тоже перестали мастерить, но мы вам ничего не говорим.

¹ Пранник — валеk для стирки белья.

Старика будто задели за живое. Он затараторил быстро и сердито, наговорил сыновьям семь коробов, несмотря на святую пятницу, и ушел в поветь. А сыновья продолжали разговор.

— Коль я буду выбирать себе дивчину, так возьму красивую, как роза, красную, как калина на лугу, а спокойную, как тихое лето, — сказал веселый Лаврин.

— А по мне — была бы работающая, проворная да немного кусливая, как муха в спас, — произнес Карпо.

— Тогда бери Мотрю, старшую дочь Довбыша. Мотря и красивая и немного кусливая, да у нее и сердце с перцем, — сказал Лаврин.

Эти слова Лаврина глубоко запали в душу Карпа. Мотря не выходила у него из головы; ему казалось, будто стоит она на току, неподалеку от него под зеленой яблоней, и глядит на него своими черными, маленькими, как терн, глазами. Он видит, как горит ее лицо, румяные щеки, как из-под тонких красных губ белеют ее мелкие зубы. Карпо задумался, оперся на лопату и не сводил глаз с того места под яблоней, где, как ему казалось, он увидел свою заветную мечту в ярких лентах на голове, с красным монистом и дукачом на шее.

— Карпо, чего ты вытаращил глаза на яблоню, как баран на новые ворота? — спросил Лаврин.

Карпо, казалось, не слышал его слов, сосредоточив свой суровый взгляд на зеленых ветвях. Ему хотелось сейчас не думать о девушке, но она стояла у него перед глазами, манила к себе.

Солнце начинало клониться к вечеру. Кайдашиха вышла из хаты и поднесла ладонь к глазам. Она была уже немолодая, но и не старая, высокая, стройная, с продолговатым лицом, серыми глазами и тонкими губами. Маруся Кайдашиха в молодости служила у пана при дворе, куда ее взяли девушкой. Она была хорошей стряпухой, и теперь господа да попы приглашали ее готовить обеды и закуски во время свадеб, крестин и храмовых праздников. Она долго терлась возле господ и переняла от них некоторые господские манеры. К ней прилипли какая-то льстивость в разговоре и почтительность к господам. Она любила целовать им руки, кланяться, пересыпать свою речь

приторными словечками. Попадья и небогатые барыни угощали ее в горницах, сажали рядом с собой как нужного человека. И Маруся важничала, улыбалась, а в разговоре сыпала льстивыми словечками, как мелким горохом. К ее естественной простоте, простоте украинской крестьянки, пристало что-то уж очень слащавое, даже приторное. Но как только она хоть немного сердилась, с нее спадала эта слащавая шелуха, и она бранилась, кричала во все горло.

— Идите-ка, детки, полдничать, да и отца зовите! — крикнула Кайдашиха писклявым голосом.

Лаврин бросил лопату и пошел в хату. Карпо продолжал стоять, опершись на лопату.

— Карпо! Иди, родной, полдничать! Бросай работу. Омелько, бросай и ты. Уже давно полдень!

— Оставь мне полдник на столе: я сейчас приду, — отозвался Кайдаш из повети, не поворачивая головы.

Сыновья с матерью пошли в хату, а отец все сидел на табуретке и мастерил. Он в эту пятницу не обедал и полдничать тоже не пошел.

Сыновья поели и опять взялись за работу; старый Кайдаш все сидел на прежнем месте и работал. Солнце уже опустилось низко над лесом, а он и не собирался полдничать.

На звоннице ударили в колокол, и тонкий звонкий гул, переливаясь, прокатился по селу и долинам, — ударился о ближайший холм, покрытый лесом, отскочил от него и откликнулся эхом у дальнего холма, затем пронесся далеко над густым лесом и звучал все слабее да тише, замирая в тихих лесных впадинах.

Старый Кайдаш бросил струг и перекрестился. Надел свитку, шапку, подпоясался и направился в церковь.

— Омелько! Омелько! — звала жена писклявым голосом. — Не забудь, когда пойдешь из церкви, зайти к пану и взять у него деньги за сделанные повозки, а то завтра надо идти в Богуслав на ярмарку. Завтра ведь в Богуславе ярмарка. Ты слышишь?

— Слышу, слышу! — отозвался Кайдаш, уже выйдя со двора и направляясь на гору к церкви.

— Да, пожалуйста, не заходи в корчму. А то пропьешь деньги, не с чем будет и на ярмарку идти, — опять крикнула Кайдашиха, выглядывая из сеней.



Кайдаш подошел к церкви; она была еще заперта. Он сел на ступеньке около двери и положил возле себя шапку. На вершинах холмов, покрытых лесом, ярко догорали лучи заходящего солнца. В тени чернели холмы, между которыми в долину прорывались снопами свет, заливая впадины своими золотыми прядями, пронизывая каждую верхушку дерева и сверкая как хрусталь сквозь зеленые листья. В лесу царил удивительная тишина, только звук колокола, трижды отражаясь эхом, гудел и дрожал над холмами. Кайдаш сидел, как деревянный, по его лицу разлилась какая-то грусть и печаль. Сторож забряцал ключами, отмыкая тяжелый большой замок. Кайдаш очнулся, вздрогнул.

Церковь открыли. Пришли священник с дьяконом и стали служить вечерню. Пономарь был в поле, Кайдаш вместо пономаря пошел в алтарь прислуживать, зажег свечи перед иконами и подал священнику кадило...

Церковь была совсем пустая, только в притворе стояли три старухи в намитках¹. Кайдаш молился, стоя на коленях и не сводя глаз с царских врат; его широкое бледное лицо было желтое, как воск, как лицо схимника.

Выйдя из церкви, Кайдаш пошел к пану за деньгами. Хороший тележный мастер, он делал помещикам и крестьянам возы, бороны, плуги, сохи и зарабатывал немало денег, но копить их не умел. Деньги уплывали к шинкарю. Крепостничество наложило свой отпечаток на Кайдаша.

Получив деньги, Кайдаш направился домой, но у самой дороги стояла корчма. Кайдаш не ел целый день. Голод подтянул ему живот. «Надо выпить хоть чарку горилки: одну чарку не грех, а то с голоду даже тело болит», — подумал Кайдаш и зашел в корчму.

В корчме было несколько мужиков. За столом сидел кум с большущей лысиной на голове. Кайдаш присел к нему за стол и, выпив чарку водки, заговорил:

— Видишь, кум, как устал... Даже спина болит.

— Что же ты такое тяжелое делал? — спросил его кум.

— Да все возы чиню и оси поправляю. Вон та каторжная гора поломала мне не один воз! А сколько осей поломала эта иродова гора — не сосчитать.

Дорога в село шла мимо усадьбы Кайдаша. Она спускалась с крутого холма, как с печи. Возы со снопами иногда скатывались с горы, таща за собой волов.

— Да ты заставь своих сыновей немного раскопать дорогу, — сказал кум.

— Разве я один той дорогой вожу снопы? Ведь и ты возишь. Почему бы и тебе не раскопать? — произнес Кайдаш, выпивая вторую чарку.

— Вишь ты, что мне, делать нечего? Будто сижу я сложа руки, — ответил кум. — А оно было бы очень ладно разрыть бугорок, да еще вот так немного наискосок.

— Конечно, наискосок, чтобы, видишь ли, было не так круто: ну, к примеру, от того кустарника к моему тыну, — сказал Кайдаш, да еще и пальцем махнул наискось.

¹ Намитка — женский головной убор из тонкой кисеи.

— А хотя бы и так, к примеру, наискось от твоего тына, оттуда, где стоит старая груша, к кустарнику, — сказал кум и махнул пальцем в другую сторону. — Вот и возы были бы целые.

— Так было бы куда лучше... Да еще если бы немного срезать лопатой за тем бугорком, что возле самого тына, — сказал Кайдаш, выпив чарку и зажигая трубку. — И посадило же там этот бугорок, словно вот ту шишку на твоей лысине, кум! Этот каторжный бугорок у меня вот тут в печенках сидит.

— Если хочешь знать, так я из-за него надорвался: у меня ведь грыжа выскочила. Когда ни едешь — всегда подпираешь воз, — сказал кум, — всю спину изодрал, ну его к дьяволу.

— Да, кажется, кум, ты и сам катился с той горы со своей Ганной, возвращаясь с крестин? — отозвался из угла какой-то мужик.

— И подумать только: с тех пор как стоят Семигоры, сколько всякого люда ездило по этой горе, а ведь и доселе не раскопали ее, — продолжал Кайдаш, наполняя чарку из куварты.

Уже солнце зашло, на дворе стало темно, а Кайдаш все пил да пил в корчме, пока не пропил половину денег, а затем совсем пьяный потащился домой.

Кайдашиха и сыновья давно поужинали. В хате все спали, когда отец постучался в дверь.

— Жинка, открывай! — закричал Омелько и начал стучать изо всех сил кулаком в дверь.

— Да где ты, бродяга, волочился до сей поры? — крикнула Кайдашиха из хаты. — Не открою! Ночуй на улице, раз пропил деньги. Хоть под забором ложись.

— Открой, а то разобью окна! — вопил Кайдаш и с такой силой ударял по ветхой двери, что она вся сотрясалась.

— Разобьешь, сам и вставишь. Кстати, завтра в Богуславе ярмарка, — отозвалась из хаты жена.

Лаврин поднялся и открыл отцу дверь. Кайдаш перешагнул порог, зашатался и, миновав дверь в комнату, стал ощупывать стены в темных сенях. Вместо дверей он натолкнулся на лестницу и свалил ее, затем наскочил на кадку с водой, сбросил с нее кружок

и бултыхнулся в воду обеими руками. Вода через край полилась на пол.

— Жинка, какого ты черта спрятала дверь? — кричал Кайдаш. — Аль это я в пруд залез? Покарала меня святая пятничка. Придется пропадать.

Кайдашу казалось, что он, идя по узенькой плотине под вербами, бултыхнулся в пруд.

— Разве ты не видишь, что стоишь в сених, — сказала Кайдашиха.

— А может, это я глаза потерял на плотине? Ничегошеньки не вижу! Ей-богу, ничегошеньки!.. А может, это кум выдрал мне глаза, — говорил Кайдаш сам себе. — Вот так напасть на мою голову. Как же это я без глаз доберусь домой?

Кайдаш взмахнул рукой и зацепил горшок на полочке. Горшок полетел Кайдашу прямо на голову и грохнулся на пол.

— Какая это иродова душа бросает в меня горшки? Маруся, да не бросайся же! Кля... клянусь, больше не буду.

Кайдашиха вскочила с постели, бросилась к печи и стала раздувать жар, приложив к нему сухую щепку. Огонь вспыхнул, осветил всю хату и полился через открытую дверь в сени.

— О! Кум вернул мне глаза! Ну, погоди, черт лысый: я тебе завтра... я тебе отплачу!

С этими словами Кайдаш вполз в хату. Лицо у него было желтое, как воск. Рукава по локти были мокрые, с них струйками текла вода. На полу появились полоски из капель, словно ниточки бус, разбросанных и перепутанных на все лады.

— И откуда такая беда свалилась на мою несчастную голову! — завопила Кайдашиха. — С чем ты завтра поедешь на ярмарку, если деньги пропил. А нужно купить соли, горшков, смолы. Чем возы будешь смазывать? Наступает время хлеб возить. Да надо бы кое-что и к свадьбе купить. Ведь ты думаешь сына женить.

— Врешь! Я деньги не пропил. Вот где они, но тебе не дам, — сказал Кайдаш, ударив рукой по лежанке вместо кармана. — Дулю от меня получишь, а не деньги.

— Вот теперь-то, батя, вы и в воде не утонете, и нежданной смертью не помрете,—отозвался со скамьи насмешливым голосом Карпо.

— А тебе-то что?.. Чтоб твоей матери вниз головой да в борщ! Спи, коли лег, а то я тебя палкой попотчую,—сказал Кайдаш и, пошатнувшись, свалился на скамью.

— Да перестань! Мало тебе еще этого шума,—останавливала мать Карпа.

Кайдаш бросил свитку на край скамьи и повалился на нее, но не достал головой до свитки. Голова стукнулась так, будто на скамью бросили тыкву. Кайдаш как свалился, так и захрапел на всю хату. Кайдашиха потушила каганец, и в хате все стихло, утихомирилось. Только собаки на дворе еще долго лаяли, раздраженные криком и светом в хате в такой поздний час.

В хате все уснули, один лишь Карпо долго не спал, и все виделась ему под зеленой яблоней мечта его в алых ленточках на голове и в красном монисте с дучаком.

II

На следующий день, в субботу, на праздник святого Пантелеймона, Кайдаш с женой поехал на ярмарку, приказав сыновьям взять лопаты и расчистить немного дорогу, шедшую с горы. Карпо и Лаврин остались дома.

Прошел день. Солнце уже садилось, а Кайдаш все не возвращался. Карпо набросил на плечи свитку и пошел в ту сторону, где жила Мотря Довбыш. Со вчерашнего дня он все время думал о ней.

Довбыш, богатый мужик, жил в самом конце села, где в лес острым клином врезывался глубокий овраг. В самом уголке этого оврага блестел маленький пруд Довбыша. Возле пруда, утопая в зелени черешен, стояла его хата. Виднелись только часть стены и сени. Густые высокие вишни, будто непроходимый лес, совсем закрывали окна и стены со стороны улицы.

Карпо шел не спеша, искоса поглядывая на двор Довбыша. Перед ним мелькнул угол белой стены, опоясанной снизу красной завалинкой; темным пятном

чернела открытая дверь с косяками, окрашенными в ярко-синий цвет, с красной узкой каймой вокруг. Хата у Довбыша была новая, просторная, с добротной крышей и большими окнами. У окон висели яркие синие ставни.

Карпо остановился у забора и оперся на ворота. Мотря вышла из хаты с глиняным горшком в руках. Она собиралась мазать красной глиной шесток. Второй горшок с белой глиной стоял у порога.

— Будь здорова, черноброва!—промолвил Карпо и слегка кивнул головой, не снимая соломенной шляпы.

— Будь здоров, нечернобров! — отозвалась Мотря.

— А подойди-ка сюда, Мотря, я что-то тебе скажу.

— Коль тебе надо, так и сам подойдешь. С чернявым бы постояла, а с рыжим нет.

Карпо был блондин, но волосы у него на голове были немного рыжеватые.

— Да разве я рыжий? Это только собак дразнят рыжими, — ответил Карпо.

Мотря стояла возле хаты. Рослая, стройная, ядреная. Рукава ее были засучены до локтей. Черные косы ложились на плечи, она казалась словно нарисованной на белой стене. Еще ярче вырисовывалось на белом фоне ее загорелое румяное лицо с черными бровями и темными, блестящими, как политый дождем терн, глазами, в которых горело что-то острое, пылкое, горячее. И лицо ее, и глаза выражали ум, лукавство и некоторую дерзость. Солнце бросало косые лучи на Мотрю, ярко освещало желтую ленту на ее голове и красное монисто на шее.

— Мотря! Дома ли твои отец и мать? — спросил Карпо, стоя у ворот.

— Нет, поехали на ярмарку. А тебе что?

— Да так, просто спрашиваю, — ответил Карпо и медленно через перелаз ступил во двор.

— Чего это ты, Кайдашенко, лазишь через наши перелазы? Наши пороги для тебя чересчур низки.

Карпо не затрагивал девушек, не шутил с ними. Девушки называли его гордым.

— Да хотя бы и высокие, — все равно перескочу. Здравствуй, Мотря! — сказал Карпо, протягивая ей руку.



Мотря руки не подала, а подставила ему глиняный горшок. Карпо взял ее за руку повыше локтя и так сдавил, что она вскрикнула на весь двор.

— Вот этого я не люблю..

— Мотря, а кто купил тебе такие красные ленты?

— Кто-то купил, да тебе не скажу. Лучше не спрашивай — много будешь знать, скоро состаришься, —

скороговоркой ответила Мотря и блеснула двумя рядами красивых мелких зубов.

— Да брось ты этот горшок! — сказал Карпо и хотел было вырвать из ее рук надбитый горшок.

Мотря так дернула горшок к себе, что часть его осталась у Карпа в руках. Красная глина разлилась по земле.

— Да отвяжись ты от меня, а то мать изругает, что я до сих пор шесток не покрасила, — сказала Мотря, однако не ушла в хату красить шесток, а взялась мазать завалинку. Мотре тоже хотелось пошутить с Карпом. Но только начала она мазать завалинку у порога, как Карпо уселся на нее.

— Уходи, а то я и тебя подмажу красной глиной, еще больше порыжеешь, — промолвила Мотря, размазывая щеткой перед его носом.

— Мотря, а все же скажи, кто купил тебе такое красивое монисто? — спросил Карпо.

— Да уж не ты, — ответила Мотря и опять махнула щеткой перед ним; Карпо отодвинулся еще дальше.

— А если бы я купил монисто, что бы ты сказала?

— Не знаю, — промолвила Мотря.

Карпо отодвинулся в самый конец завалинки; дальше уж и двигаться было некуда.

— Вставай, а то столкну! — крикнула Мотря.

— А ну столкни, осилишь ли? — проговорил Карпо и улыбнулся.

— Убирайся, а то, ей-богу, ударю. Даже глазом не моргну, — крикнула Мотря и замахнулась на Карпа щеткой. Красная глина брызнула кровавыми каплями на белую рубаху Карпа.

Парень вскочил и зацепился ногой за горшок. Горшок опрокинулся и покатился с бугорка. Карпо повернулся, чтобы не замарать сапоги, и каблуком задел второй горшок, с белой глиной, стоявший у порога. Горшок покатился на середину двора, а за ним протянулась белая полоса, словно от самого порога тут разостлали белое полотенце.

— Да ты очумел или с ума спятил! — крикнула Мотря на весь двор. — Вот беда-то! Что же это будет, если мать нагрянет с ярмарки?

Карпо стоял посредине двора и улыбался. Редко когда он улыбался; причем его нахмуренное желтоватое лицо не становилось веселым даже тогда, когда усмехались губы.

— Сейчас же возьми и прибери, а то я не знаю, что теперь мать скажет. Ведь на целый пятак купила она на ярмарке красной глины, — продолжала Мотря жалобным голосом.

— Ну-ка, Мотря, заплачь! Я еще отродясь не видал, как дивчата из-за горшка плачут.

— Хороши шутки! Возьму вот эту щетку да вымажу тебе голову, так не будешь горшки переворачивать.

Мотря наклонилась, подняла с земли щетку с красной глиной и уже замахнулась, чтобы бросить ее в Карпа.

— Не сердись; я для тебя завтра музыкантов найму, — промолвил Карпо.

Мотря заметила, что Карпо начинает ухаживать за ней, и сдержала свой гнев. Другому парню она бы и в самом деле вымазала глиной шею.

Только Мотря замахнулась на него щеткой, как вдруг за вербами послышался грохот телеги. Мотря и руки опустила.

— Боже мой! Ей-богу, мать с отцом едут с ярмарки.

Карпо перескочил через перелаз и пошел вдоль тына. На противоположной стороне улицы ехала телега, которая остановилась у ворот Довбыша. Жена Довбыша сразу же заметила подле хаты две полосы разлитой глины и два горшка, валявшиеся посреди двора.

— Девка, а это что такое? — крикнула мать с воза. — Уж не пьяная ли ты, что поразбросала по двору горшки?

— Да тут чей-то кабан вскочил во двор. Я стала за ним гоняться, а он, проклятый, понесся вдоль хаты и перевернул оба горшка, — говорила Мотря.

— Это, наверное, рябой Параски кабан? Он, как торжный, прыгает через тын, как собака, — промолвила мать.

— Почему ты не покрасила сначала шесток, а стала обмазывать завалинку? — спросила мать, войдя в хату.

— Вот еще, господи! Почему да почему? — вскипела Мотря. — Если бы не этот клятый кабан, чтоб он вытянулся, я бы всю работу сделала, — говорила Мотря, отвернувшись к стене и улыбаясь.

Карпо тем временем пришел домой. Отец и мать уже вернулись с ярмарки. Не успел Карпо войти во двор, как отец спросил его:

— Где же ты, Карпо, был? Дорогу, что ли, раскапывал на горе?

— На какой горе? — спросил Карпо, не глядя на отца.

— А вон на той! Разве не видишь? — сказал Кайдаш, показывая рукой на крутой холм, который чуть ли не нависал над садом. — Я ведь наказал вам обоим немного раскопать дорогу наискось. Если жать сегодня нельзя, то копать можно...

— Что я, с ума спятил, чтобы горы раскапывать, — сердито отозвался Карпо.

— А снопы-то как возить будем? — спросил отец.

— Так, как и возили, — нехотя ответил Карпо.

— Разве мало осей там поломали?

— Ну так еще одну или две поломаем. Все село ездит через гору, а я буду ее раскапывать. Вот так диковина!

— Кто же раскопает ее, если мы не начнем? Кому-то ведь начать надо, — сказал отец.

— Ежели кто начнет, то и я ковырну лопатой раз другой, — ответил Карпо и пошел в хату.

— Да и я копну, — отозвался Лаврин, направляясь в хату.

Старый Кайдаш только рукой махнул, распрягая волов: были паны — дорогу не прокопали, теперь волость, а дорога опять-таки не проложена. «Не буду и я ее копать. Пускай черти ее раскапывают, если это им по душе», — бормотал себе под нос Кайдаш.

На колокольне ударили в колокол. Старый Кайдаш снял шапку, трижды перекрестился и пошел в церковь, приказав сыновьям готовить два воза с жердями для перевозки снопов. На следующий день, несмотря на то что было воскресенье, они собирались чуть свет ехать в поле за снопами. Крестьяне почитают воскресенье и другие праздники и в эти дни не выполняют

никаких работ, кроме одной — возят снопы, и не считают это за грех.

В воскресенье утром перед обедней Мотря Довбыш собралась в церковь. Она взяла из кладовой завязанные в платочек цветы, ленты и разложила их на столе, покрытом белой скатертью; принесла и поставила на лавке красные сафьяновые сапожки. Мотря села на круглую табуретку у стола, а ее подружка, соседка, надела ей на голову кибалку¹, вырезанную из толстой бумаги, похожую на венок; на кибалку вначале положила узенькую ленточку из золотой парчи, а потом уложила ленты одну выше другой таким образом, чтобы над лбом каждая ленточка выделялась. Кибалку и косы украсила цветами, сделанными из красных, синих, зеленых и желтых узеньких ленточек. За уши воткнула пучки мелкого барвинка, перья селезня и павлина, а потом уложила на спине двадцать ленточек, спускавшихся до пояса.

— Зачем ты, Мотря, так наряжаешься? — спросила мать. — Не такой уж сегодня большой праздник. Зачем ты надеваешь эти цветы и ленты?

— Да залежались они в сундуке. Хочу немного проветрить, — ответила Мотря, но на уме у нее было совсем другое. Карпо обещал нанять для нее музыкантов. И она надеялась встретиться с ним в церкви.

Мотря нарядилась в зеленую юбку и красную запаску², подпоясалась длинным красным поясом, концы которого опустила чуть не до пола, надела зеленую с красными полосами корсетку, обулась в красные сапожки, нацепила красивое монисто, взяла в руки белый платочек и пошла в церковь. Голова ее, украшенная цветами, казалось, горела, освещенная солнцем. Павлинье перо переливалось красками, а золотая полоска парчи в черной косе сияла, оттеняя красоту тонких черных бровей и блестящих глаз.

Она дошла до двора Кайдаша. Именно в эту минуту с крутого холма, будто два стога, катились два воза со снопами.

Это Кайдаш и его сыновья везли с поля снопы. Высокие возы резко накренились с горы на спины волов

¹ К и б а л к а — головной убор.

² З а п а с к а — женская одежда, заменяющая юбку, или разновидность женского передника.

и немилосердно кололи их острой соломой и остью. Волы позадирали головы и вытарасили огромные глаза.

— Карпо! Да держи ты цабе!¹ — крикнул отец сыну. — Объезжай этот проклятый бугорок.

— Цабе, серый! Цабе, муругий!² — крикнул Карпо и взмахнул кнутом над рогатыми головами.

Но как раз в эту минуту Карпо посмотрел вниз. Мимо их двора шла Мотря в цветах и лентах. Красная запаска, красные сапожки, красный, как пламя, пояс — все горело и сияло в лучах утреннего солнца, как червонное золото. Карпо загляделся на это диво, а между тем колесо уже наезжало на крутой бугорок.

— Держи цабе! — крикнул не своим голосом старый Кайдаш, увидев, что воз наклоняется на одну сторону. — Да ты что — оглох или ослеп! Карпо, держи цабе!

Карпо не мог оторвать глаз от Мотри, а воз все кренился и кренился набок. Отец, оставив задний воз, побежал к переднему и все кричал: «Цабе, серый, цабе!» Но колесо наехало на бугорок, и воз опрокинулся набок. Передняя ось треснула, как щепка, колесо застряло в выбоине.

— Ой, горе мне, несчастному! — закричал Кайдаш. — Это меня наказало святое воскресенье. И за чем надо было возить снопы сегодня?

Не успел Кайдаш погоревать о случившемся несчастье, как воз, ехавший сзади, наскочил на передний и тоже опрокинулся.

В это время на колокольне зазвонили во все колокола. Люди, сидевшие возле церкви, встали и начали креститься. Кайдаш видел холм, на котором стояла церковь, и людей возле нее. Сняв шапку, он тоже начал креститься.

— Господи милостивый и милосердный! Покарали меня и святое воскресенье, и святая пятница. Теперь хоть садись да плачь! — сетовал Кайдаш и чуть не плакал.

— Вас, батя, все карает, если не пятница, то воскресенье, — насмешливо сказал Карпо.

¹ Ц а б е — направо.

² М у р у г и й — вол серо-белой масти с продольными узкими темного цвета полосками.

— Зато ты у нас больно умен. Лучше бы хоть раз ковырнул лопатой этот каторжный бугорок! И что нам теперь делать на божьем свете? — горевал старый Кайдаш.

— Оставим снопы и пойдем в церковь, — сказал Карпо.



У отца то же было на уме. Давно ему хотелось замолить свои грехи. Карпу тем паче хотелось пойти в церковь. Он только и следил глазами за Мотрей, — как она поднималась на гору к церкви, как вышла за ограду, а затем, идя под зелеными вишнями, минула кладбище и остановилась у самой двери, возле девушек.

Карпо поглядел на возы и тяжело вздохнул. Надо было браться за дело.

Уже зазвонили на «Достойно», когда Кайдаш и сыновья управились со снопами, отвезли их во двор, оставив на горе только поломанный воз.

Старый Кайдаш набросил свитку и пошел в церковь замаливать свои грехи. Вслед за ним пошел и Карпо, чтобы встретиться с Мотрей.

Карпо, переходя кладбище, только успел бросить взгляд на Мотрю. Она нарочно держалась среди девушек как-то обособленно. Карпо мельком увидел ее острые, как ножи, глаза, поймал на себе ее сверкающий взгляд из-под венка цветов и зеленых листьев.

Выйдя из церкви, Карпо лишь за воротами догнал Мотрю. Длинные ленты у нее на голове развевались на ветру, словно листья роскошного хмеля, повисшие на тополе. Мотря поднесла к губам платочек, но, тотчас же отняв его, смело спросила:

— Выйдешь после обеда на музыку?

— Выйду! А ты, Мотря?

— Выйду, если бы даже и мать не пускала, — ответила Мотря и побежала на плотину, где и скрылась за вербами: только ее красные ленты блестели меж зеленых листьев.

«Ох, зарюсь я на вражью дивчину, да не знаю, будет ли она моей: извивается, точно вьюн в руках, как бы не выскользнула», — подумал Карпо и пошел в хату.

После обеда на улице заиграли троистые музыканты¹, — они шли к корчме. Девушки в огородах и садах прекратили работу и выбежали на улицу, так что перелазы затрещали. Жатва заканчивалась, и свободного времени теперь было вдоволь. Девушки собирались на гулянье возле корчмы. Стояла корчма возле плотины у пруда, окруженная высокими вербами. Все девушки пришли сегодня только в красных кибалках, лишь одна Мотря явилась украшенная цветами и лентами. Девушки переглядывались между собой и удивленно посматривали на Мотрю. В толпе парней находился и Карпо в черной высокой смушковой шапке. Это он нанял музыкантов для девушек. И девушки этим были очень поражены. Никто из них не догадался, что Карпо пригласил музыкантов лишь для одной Мотри. Она вышла в танец первая и повела за собой других девушек. За девушками вышли плясать и

¹ Так называют на Украине трио музыкантов, состоящее из скрипки, контрабаса и бубна.

хлопцы. Только Карпо стоял в стороне, заложив руку за пояс. Он не любил и не умел танцевать. Издали наблюдал он исподлобья за Мотрей, видел, как на ее плечах развевались длинные ленты, как в такт музыке отстукивали ее красные сапожки, как бряцало на шее добротное монисто с дукачами.

Музыканты вдруг умолкли, будто струны оборвались. Девушки перестали плясать. А Карпо все стоял и посматривал искоса на Мотрю. Он не подходил к ней, не пытался даже заговорить. Мотрю брала досада. Под вечер девушки стали расходиться по домам. Пошла и Мотря, немного рассерженная на Карпа. Но Карпо догнал девушку и пошел рядом, долго не решаясь заговорить с ней. Мотря молча грызла семечки. Двор Довбыша был недалеко. Уже виднелись сад и задымленная крыша. Они пошли по плотине.

— Чего ты, парубок, идешь за мной следом? Мать увидит, да еще выругает, — сказала Мотря, не глядя на Карпа.

— А коль свистну я за садом, выйдешь?

— Я бы обсадила двор черешнями, чтоб и голоса твоего не слышать.

— Почему?

— Кто тебя знает, то ли ты гордый, то ли важный, то ли нос высоко задираешь? Да и не знаю я, любишь ли ты меня или хочешь насмеяться надо мной. Чего доброго, еще и обесславишь на все село.

Карпо остановился на плотине под вербой. Мотря тоже остановилась.

— Я не гордый, не важный и нос высоко не задираю. Я тебя, Мотря, люблю и над тобой не смеюсь.

Мотря сделалась как-то добрее и ласковее. Она улыбнулась и посмотрела прямо в глаза Карпу. Ее блестящие глаза, казалось, были покрыты мелкой росой.

— Когда взойдут звезды на небе, я подам ужин маме и выскочу на часок в сад. До свидания, Карпо! — сказала Мотря и повернулась перед ним так стремительно, что ее ленты, точно пухом покрыли его лицо.

«Ох ты, дивчино, из кудрявой руты-мяты да из тонколистого шалфея свитая!» — подумал Карпо и повернул домой.

С той поры прошло недели две. Лето уже было на исходе. Накануне святого Семена Карпо послал к Мотре сватов. Сваты обменялись хлебом: Мотря не чуждалась Карпа.

В день святого Семена старый Кайдаш надел черную свитку, положил за пазуху каравай хлеба, взял в руки палку и пошел со своей женой к Довбышам в гости. Кайдашиха нарядилась, как в воскресенье, — в корсетку, в желтые сапожки, в новую белую свитку, еще и белый платочек заложила в рукав. Довбыши были зажиточными, и Кайдашу хотелось показать, что они тоже живут в достатке.

Кайдаш с женой вошли во двор к Довбышам. На улице было жарко, как в разгар лета. Солнце только что повернуло с юга. Кайдашиха остановилась у ворот и полой смахнула пыль с желтых сапог. Недалеко от хаты под грушей Мотря терла коноплю. Руки ее ходуном ходили. Трепалка у нее в руках тявкала, как собака, — дробно и громко, даже скрипела и выла. Пучок конопли в руке мелькал, как хвост у лисицы.

— Здравствуй, дитя мое! Бог на помощь! — промолвила Кайдашиха писклявым голоском, обращаясь к Мотре.

— Здравствуйте! Спасибо! — ответила Мотря, а руки ее продолжали двигать мечик трепалки. Она только на миг подняла голову и опять опустила глаза на трепалку.

— Дома ли отец и мать? — спросила жена Кайдаша.

— Дома. В хате они, — ответила Мотря, и трепалка на минуту умолкла, но затем опять завывала на весь сад.

Жена Довбыша выглянула в окно и догадалась, что Кайдаши идут к ним на смотрины. Мигом она застлала скатертью стол, положила на него хлеб, набросила на себя корсетку, а Довбыш выскочил в сени, побежал в клеть и там надел свитку.

Кайдашиха еще разговаривала с Мотрей во дворе, а жена Довбыша уже открыла дверь в сенях и стала на пороге. Кайдаши поздоровались с хозяйкой, и та пригласила их в хату. Довбыш в сенях встретил гостей и расцеловался с ними. Все вместе вошли в хату, и гости еще раз поздоровались с хозяевами.

Жена Кайдаша положила на стол каравай. Довбышиха взяла хлеб в руки, поцеловала его и снова положила на стол.

— Как вас, сватья, бог милует? Живы ли, здоровы ли вы, моя милая?—говорила Кайдашиха писклявым голоском и все топорщила губы.

— Спасибо вам, сватья! Хвала богу, живем понемногу. Садитесь, сватья, чтоб и сваты садились,—приглашала хозяйка.

— Дай бог, чтоб и сваты садились. Если пошлет господь милосердный, то, может, и на самом деле сваты скоро сядут у вас,—говорила Кайдашиха, вытирая губы платочком, хотя на губах ничего и не было.

— Что это вы, сватья, запылились? —спросила хозяйка Кайдашиху.

— Да, моя милая. На дворе душно, как в середине лета,—ответила жена Кайдаша и опять вытерла лицо платочком. Она любила прихорашиваться и была очень чистоплотная. На ней все было чистенькое, как с иголочки.

Жена Кайдаша села на скамью у стола. Кайдаш разговаривал с хозяином.

— Да садитесь же, сватья, за стол! —приглашала хозяйка.

Кайдашиха пересела со скамьи на лавку. Она очень церемонилась и любила, чтобы ее упрашивали. Служа у господ, она переняла от них немало чванства.

— Да садитесь же, сватья, за стол, пожалуйста. Вот, господи! А вы, сват, чего стоите? Садитесь за стол.

Кайдаш полез за стол. Кайдашиха только немного продвинулась к столу и опустила глаза.



— Вот, господи! Садитесь же, сватья, в красном углу, сделайте милость! Ведь вы наша сватья! — уговаривала хозяйка жену Кайдаша.

Кайдашиха совсем опустила глаза, заважничала, вытерла губы платочком и подвинулась к самому красному углу. Она чуть подняла глаза и осмотрела хату.

— Где же это моя Мотря? Должно быть, замешкалась с работой. Уже время и полдничать, — говорила хозяйка.

— Ну и работающая же у вас дочь! Прямо золото, а не дитя. Только что видели — так старается, так работает, что и спину не разогнет, Вот уж, моя милая, хорошая невестка будет у меня, если, даст господь милосердный, завершим дело до конца, — говорила Кайдашиха, словно мед разливала по хате.

Довбышиха кликнула Мотрю. Та вошла в хату и остановилась у порога. Мать велела дочери снять в крынке сметаны и нарезать сала, а сама приготовила хлеб. Между тем хозяин принес из клетки бокастую флягу водки и поставил на стол. В водке плавал стручок красного перца, как будто только что сорванный на огороде. Кайдаш посмотрел на перец, и у него потекли слюнки.

Мотря поставила на стол глубокую тарелку со сметаной и миску с ломтиками сала. Кайдашиха глаз не сводила с Мотри, будто хотела выведать все тайны ее души. Глаза Кайдашихи из мягких стали жесткими. Брови нахмурились, даже улыбка слетела с ее губ, будто выпорхнула из хаты.

— Спасибо тебе, мое золотко, за то, что ты нас приветствуешь, — сказала Кайдашиха, и опять на губах ее заиграла улыбка и полились слова, точно патока.

Кайдашиха сидела сложа руки, словно она только что пришла из церкви после причастия.

Мотря пристально посмотрела на будущую свекровь, оценивая своим пронизательным умом ее речь. Подслащенный мед в словах Кайдашихи сразу же не понравился Мотре.

Между тем Довбышиха велела дочери развести в печи огонь и приготовить яичницу. Мотря стала стирать возле печи. Хозяин налил в чарку перцовки.

Кайдаш, глотая слюни от удовольствия, с трудом сдерживался.

Хозяин поднял чарку и стал приговаривать:

— Дай же, боже, нам счастья и здоровья, а умершим пошли, господи, царство небесное. Помогите нам, боже, довести дело до конца, а ты, дочь, будь счастлива и здорова. Коль будешь свекру и свекрови покорная, будет твоя душа покойная.

Хозяин выпил полную чарку до дна, чтобы не оставалось на слезы, опять налил и подал Кайдашу. Кайдаш поднялся и, обращаясь к чарке, произнес несколько слов и быстро опрокинул чарку в рот. Хозяин снова наполнил чарку и подал Кайдашихе. Она взяла чарку и наговорила пожеланий живым и мертвым полнехонькую хату.

— Дай же, боже, нам и нашим детям жизнь долгую и счастливую, чтобы ты, моя доченька, была здоровая, как вода, чтобы вечно цвела, как роза, чтобы украсила ты мою хату, моя радость, как кукушка садик, и приголубила мою старость. Пошли тебе, боже, как рыбе в море, жизнь привольную.

Кайдашиха хотя и любила выпить, но только пригубила чарку.

Кайдаш посмотрел на свою жену и подумал: «И на кой леший ей понадобилось языком чесать!» Ему очень хотелось выпить по второй.

— Почему, сватья, вы так мало выпили? — спрашивала хозяйка.

— Ох, довольно, хватит, — залепетала Кайдашиха. — Она такая горькая, как полынь! Не пойму, как только пьяницы ее пьют.

— Да выпейте, сватья, еще. Неужто вы столько оставляете на слезы? — спросила хозяйка.

Кайдашиха снова приложила губы к чарке и чуть было не ошиблась, не выпила до дна, но опомнилась, взяла в рот один глоток и скривила губы.

— Да выпейте, сватья, до дна! — снова упрашивала хозяйка.

— Ох, хватит, моя милая! Как бы не опьянеть, — промолвила Кайдашиха, отдавая чарку хозяйке и закусывая хлебом и салом.

Довбыш наполнил чарку и пригласил к столу Мотрю.

Она взяла чарку, едва промолвила несколько слов и тут же приложила чарку к губам, но тотчас отвела ее, словно обожгла ею рот, потом отвернулась и вытерла губы рукавом. Гости и хозяйева стали полдничать, потом опять выпили по чарке и разговорились. Кайдашиха щебетала, да все посматривала искоса на сундук, стоявший на полу, на вешалку, на подушки. Она была чересчур хвастлива, поэтому и здесь не вытерпела и стала рассказывать, как ее уважали господа и попы.

— Не так давно, мое золотце, пригласили меня в самые Дешки готовить обед: там у священника были крестины. Господи милосердный! Гостей понаехало — полнехонький дом, и я на всех готовила. Как только гости поразъехались, зовет меня матушка в горницу, сажает за стол и сама садится со мной ужинать. Так она меня уж угощала, спасибо ей, да все упрашивала: выпейте же, пани Маруся, да откушайте же, пани Кайдашиха. Ей-богу, правду говорю, *проше* вас.

Мотря отвернулась к порогу и засмеялась. Над этим *проше* все село смеялось и потому прозвало Кайдашиху «пани экономшей».

— Только бы господь продлил мне жизнь, а я тебя, Мотря, уже наставлю на путь истинный. Господи, чему я только не научилась в доме господ.

Но воспоминание о господском дворе навеяло мысли о недавнем крепостничестве и привело всех в уныние. Кайдашиха, заметив это, перевела разговор на другую тему:

— А коль говорить о моих сыновьях, так, ей-богу, грех будет не похвалить их. У меня два сына, как соколы. Что-что, а на старости прикроют меня орлиными крыльями. Слава богу, будет к кому голову приклонить. Что за милое дитя мой Карпо — такой послушный, спокойный, хоть за уши тащи. Таким он был и маленьким: бывало, оставляю его в люльке, пойду на огород, вернусь, а он лежит, даже не пикнет. У меня сыны словно душистые васильки, что растут в огороде.

Довбыш и Довбышиха слушали Кайдашиху, разинув рты, а Кайдаша разбирала злость. Он с нетерпением ждал, когда наконец его жена прекратит чесать языком и хозяин нальет по чарке. Красный перец

в водке раздражал его, как игрушка маленького ребенка, а тут жена его мелет языком, не зная удержу. И он не вытерпел:

— Да перестань ты расхваливать своих сынов. Расхваливала сова своих детей: мол, красивее их нет никого на свете. А какая уж там красота у совы?.. — проговорил Кайдаш.

— Оно понятно, если правда, то не грех, — сказала жена Довбыша и словно подлила в огонь масла.

— Я не расхваливаю своих сыновей, но если правду сказать, так во всех Семигорах нет таких хлопцев, как мои. Работающие, послушные, покорные — что и говорить. Дай боже таких детей каждому. Моего Лаврина, *проше* вас, хоть в пазуху спрячь, а когда идет по селу, так дивчата перелазы ломают...

Кайдашиха даже не заметила, чтохватила через край. Карпо совсем не слушал не только ее, но и отца, а покорным он не был с самого детства.

Мотря приготовила яичницу и подала ее на стол. Довбыш снова потчевал гостей. Кайдашиха пила теперь по полной чарке, не кривила рот и не вытирала губы платочком. Чарка все чаще ходила вокруг стола. На дне бутылки теперь остался только красный стручок. У Кайдаша и его жены посоловели глаза. Они поднялись из-за стола и стали прощаться, обниматься и целоваться. Кайдашиха, переступая порог, споткнулась.

— Даст бог, поженим детей, тогда я для Карпа пристрою хату через сени, — сказал Кайдаш, выходя за ворота. — У меня сыновьями не поле засеяно. Лаврин останется в моей хате, а Карпо будет жить через сени, в соседней.

— И то дело, сват! Коль будут уважать друг друга, то помирятся, а нет, то пусть уж как хотят! — промолвил Довбыш, провожая сватьев за ворота.

— Да и быть того не может, чтобы мои сыны — и не жили мирно! На целом свете нет таких послушных детей, как мои сизокрылые орлы! — хвасталась Кайдашиха, выходя со двора на улицу.

— Прощайте и будьте здоровы! Спасибо вам за хлеб-соль и за вашу ласку! — сказала Кайдашиха, выйдя за ворота.

После второй пречистой недели Карпо обвенчался с Мотрей. Четыре дня играли музыканты, четыре дня пили и гуляли гости у Довбыша.

В четверг на заре, едва начало светать, Кайдашиха проснулась и разбудила невестку:

— Мотря! Вставай, мое дитятко, затопи печь, да когда будешь укладывать дрова, то положи два полена, а на них другие поперек и выбирай, мое золотко, поперечные потолще, чтобы дрова быстрее разгорелись. А когда поставишь греть воду, пойд и подои корову да отгони овец в стадо.

Мотря встрепелась и спросонья насилу разобрала, что свекровь учит ее раскладывать дрова в печи, будто мать ее этому не учила. Она встала, разожгла дрова в печи и поставила чугуны с водой.

— Пойди же, доченька, подои коровушку. А я еще немножко полежу. Мне что-то нездоровится. Так у меня ноженьки болят! Ох, ох, ох! — застонала Кайдашиха на печи, укрываясь рядом.

В хате еще все спали. Мотря пошла, подоила корову и, процедив молоко, погнала ее в стадо. Возвратилась она домой, а свекровь все еще спит на печи, даже храпит.

— Отогнала ли корову в стадо? — спросила Кайдашиха спросонья. — Возьми же, мое золотко, да начисть картошки на борщ и накроши бураков, а я вот сейчас встану и покажу тебе, как стряпать борщ.

Мотря взялась чистить картошку, а Кайдашиха опять охала на печи и встала лишь тогда, когда на дворе совсем рассвело. Она умылась, стала перед образами и молилась долго-долго, покуда Мотря накладывала в горшки картошку, свеклу и капусту. Свекровь крестилась, но искоса поглядывала, как работает невестка.

Мотря, заметив косой взгляд свекрови, тоже исподлобья посматривала на нее.

Кайдашиха помолилась богу и опять начала поучать невестку: как готовить борщ, как заправлять его, когда бросать сало. Она стояла над душой Мотри, точно есаул на панщине, а сама и за холодную воду не бралась.

— Когда поставишь варить борщ и кашу, подмети в хате и нарежь сала на шкварки для каши, — опять наставляла Кайдашиха, а сама стояла сложа руки, ни к чему не прикасаясь. Потом она снова полезла на печь, заохала и легла отдыхать.

Мотре сразу стало легче, ибо свекровь уже не следила за тем, что она делает. «Но почему это свекровь не берется за дело?» — подумала она.

Кайдашиха была вполне здорова и просто обманывала свою невестку. Она рада была, что взяла в свой дом хорошую работницу, и решила отлеживаться. В печи зашипел горшок.

— Мотря! — закричала с печки свекровь не очень сладким голосом. — Почему ты не следишь за едой? Ведь если прольется сало, тогда борщ хоть собакам вылей.

Мотря в это время подметала в сенях пол. Швырнув веник в сторону, она подбежала к печи.

— Если бы я могла разорваться надвое, так и сени подметала, и у печи стояла, — отвечала раздраженно Мотря.

Немного погодя в хату вошел Кайдаш с сыновьями и велел подавать обед. Мотря поставила еду на стол, а мать сидела, как в гостях.

— Борщ сварила хорошо, а каша получилась немного жидковатая, — промолвила Кайдашиха и опять начала поучать невестку. Мотря только глаза опускала вниз.

После обеда Мотря стала мыть горшки и миски. Она взяла нож и стала очищать края старого засаленного горшка. Горшок визжал под ножом, как щенок.

— Да не скреби ты ножом, дочка, а то от этого в голове у меня словно кто бороной скребет, — сказала Кайдашиха.

— А как же его скрести, чтобы не было слышно? — не выдержала Мотря и повысила голос.

— Не сильно нажимай ножом, мое золотко, тогда и не будет горшок визжать, как собака, застрявшая в тыне.

Мотря замолчала и бросила нож на лавку. Нож зазвенел. Свекровь только косо посмотрела на нее, но ничего не сказала.

После обеда Кайдашиха поручила невестке просеять муку, потом заквасить квашню, а сама опять полезла на печь спать. Выспавшись, она встала и пошла к соседке в гости. Мотря, двигая сито на рейках, положенных вдоль корыта, задумалась. Она поняла, что свекровь недобрая и что за ее слащавыми речами скрывается горькая полынь. Но Мотря была не из таких, чтобы кому-то покоряться.

На следующий день Кайдашиха опять чуть свет разбудила невестку, а сама залезла на печь, укрывшись с головой одеялом, и заохала. Теперь Мотря уже не верила этому оханью. Она сварила обед, заквасила квашню. Работы было много, Мотря вертелась, как муха в кипятке, всюду успевала; а свекровь, спустившись с печи, подмела лишь хату, да еще и мусор оставила тут же у порога. Мотря не раз сердито поглядывала на свекровь и едва сдерживала себя. Она замесила хлеб, посадила его в печь и подала обед на стол. Борщ оказался невкусным. Свекровь только попробовала одну ложку борща и больше есть не захотела.

— Плохой борщ сварила сегодня, дочь. Наверно, и нынче сало сбежало, — промолвила Кайдашиха.

— Потому что вы, мама, не очень-то помогали мне его варить. У меня ведь не десять рук, а только две! — отрезала Мотря.

— Где это видано, чтобы так матери отвечали, — говорила Кайдашиха поучительным тоном. — Коль не умеешь ладно варить, так надобно учиться. И я не умела, но в экономии господ научили.

— Я, слава богу, крепостной не была и у господ не училась, — опять отрубил Мотря.

Кайдашиха замолчала, прикусив язык. Она поняла, что Мотря не смолчит.

Наступила суббота. В этот день работы было еще больше. Кайдашиха только подмела хату и уселась возле окна чинить старые рубахи. Мотря помазала стены, переднюю часть печи, плиту, лежанку. Кайдашиха, заложив руки за спину, подошла к печке и пристально стала рассматривать, хорошо ли невестка помазала ее.

— Помажь печь еще раз, дитя мое. Когда мажешь, то не очень верти щеткой, а делай так, мое золотко:

сначала в длину, мелко-мелко, а потом поперек, вот так, вот так, вот так! А то видишь, везде заметны следы щетки, — сказала Кайдашиха.

Мотря взглянула на печь и увидела, что она была вымазана хорошо, лишь кое-где заметны были следы щетки.

— Матери всегда, бывало, угождала, а вам никак не потрафишь, — робко отозвалась невестка.

— Я, мое золотко, бывала у людей и знаю, как это делается. Я, бывало, если вымажу господские покои, то они получаются, как разрисованные. И ты, золотко, если будешь слушаться меня да будешь старательной, тоже научишься, — сказала Кайдашиха и опять уселась у окна шить, да еще и песню затянула.

— Да ты, старуха, одурела на старости лет, что ли? — не вытерпел Кайдаш. — Нынче суббота, а она песню затянула.

Кайдашиха замолчала. Ей было стыдно перед невесткой.

Прошла неделя. Кайдашиха перестала называть Мотрю золотком и уже понукала ее, как батрачку. Она просто поручала ей работу, а на третьей неделе стала уже на невестку кричать, а потом и попрекать ее. Мотря едва сдерживала свой язык и только сердито поглядывала на свекровь.

Наступил филиппов пост. Потянулись длинные, как море, ночи. Молодицы на селе начали вставать на заре пряхть.

— Мотря! — кричала с печи Кайдашиха. — Вставай-ка ты пряхть. Или не слышишь? Уже третьи петухи пропели, а ты все спишь. Надо пряхть на полотно. Мотря! Ты что — спишь?

Мотря встала, засветила лампу, разожгла в печурке щепки и села возле печи пряхть. Карпо и Лаврин тоже поднялись и стали около лежанки мять ногами коноплю, а Кайдашиха опять накрылась с головой и уснула. Мотря напряла полпочатка и поставила в печь варить обед. И лишь тогда Кайдашиха слезла с печки и села за гребень. На дворе светало. Мотря стала отжимать замоченные рубахи, но Кайдашиха даже не подмела хату.

Все горело в руках Мотри. Она отжимала белье и одновременно следила за печкой. Кайдашиха раза два

отодвинула горшок от углей, размешала кашу, а хату все же не подмела. Мотрю разбирала злость. «Не буду и я подметать хату, — подумала она, — посмотрим, подметет ли свекровь».

Сели уже и обедать, а хата все еще не была подметена.

— Почему ты, Мотря, до сих пор хату не подмела? — спросила Кайдашиха. — Или ты хочешь, чтобы над нами люди смеялись?

Мотря устала от работы. Ее разбирала злость. Она вылила в помойное ведро воду из корыта и так швырнула его на табурет, что оно поскользнулось и полетело на пол.

— Ну и безрукая ты! Разве так ставят, невесточка! — крикнула Кайдашиха на Мотрю. — Одно корыто у нас, и то разобьешь.

— Разобью — другое купите, — отрубил Мотря.

Кайдашиха видела: невестка злится на нее. И сама тоже злилась.

Уже и вечер наступил, а в хате мусора было чуть ли не по лодыжки. Кайдашиха взялась тоже отжимать рубахи, но хату не стала подметать.

— Почему у вас до сих пор не подметено? — спросил Карпо, входя в хату.

— Потому что твою жену сегодня лень одолела, — промолвила сердито Кайдашиха.

— Не знаю только, кого лень одолела, — чуть слышно стозвалась Мотря и так скрутила в руках рубаху, что она чавкнула, будто зарычала, а брызги от нее полетели Кайдашихе в глаза.

— Какого ты лешего так брызгаешь? Мало, вишь, мусора в хате, так пускай еще и грязи прибавится, — крикнула Кайдашиха. — Почему ты своей жене ничего не говоришь? — обратилась Кайдашиха к Карпу. — Разве не видишь, что она не слушается меня и делом не занимается.

— А разве это не дело? Не в жмурки ведь играю, — повысила голос и Мотря.

— Почему ты, Мотря, до сих пор не подмела хату? — спросил Карпо у жены.

— Не подмела, потому что веселилась с полуночи. Так наплясалась, что ни рук, ни ног не чувствую, — промолвила Мотря.

— Да чего это ты орешь, как на отца! — крикнула Кайдашиха. — Мне уши не заложило, слышу.

— Я на отца никогда не орала, а у вас вынуждена кричать, потому что работаю одна на всю семью.

— А разве ты одна работаешь? — спросила Кайдашиха.

— А кто же мне помогает, если до сих пор и хата не подметена? — воскликнула Мотря.

— Чего это ты, Мотря, кричишь на мать? Она тебя не худому, а уму-разуму учит, — отозвался Карпо.

— Был у меня разум, да у вас, наверно, растеряла, — ответила Мотря сквозь зубы. Она отжимала белье с такой силой, что у нее даже монисто бряцало и дукачи болтались.

Мотря сложила белье на коромысло и пошла к пруду полоскать. В хате стало тихо. Кайдашиха взяла веник, подмела пол в комнате и в сенях.

— Ты, Карпо, не потворствуй своей жене, она меня и так не слушает, да еще и бранится. Она меня вовсе за мать не признает. А какой толк в том, что она работающая, ежели хата три дня не подметалась?

— Да и не три дня, а только один, — ответил Карпо.

— Так, сынок, так! Защищай свою жену, твоей матери в собственной хате нельзя будет и слова сказать. Мотря молодая, пускай работает, а я уже старая, отработала. Мне можно и отдохнуть. Ты жене не потворствуй, а то, гляди, она тобой тоже помыкать будет.

Карпо схватил шапку и убежал из хаты. Ему было жаль жену, жаль и мать.

Пока Мотря полоскала рубахи, Кайдашиха затопила печь и поставила варить ужин. Вечером пришла Мотря с рубахами и сложила их на скамье. В хате повеяло прохладой и влагой. Свекровь молча возилась около печки. Невестка взяла с полки хлеб, соль и села полдничать. Она глянула на пол: хата была подметена.

«Моя невестка не будет покорной и послушной, — думала Кайдашиха, стоя у печки, — не отдохну я от работы на старости лет». Кайдашиха тяжело

вздохнула. Мотря восприняла этот тяжелый вздох как упрек себе.

Мужчины вошли в хату и сели за стол. Мотря бросилась наливать в миски галушки.

— Прочь! — крикнула Кайдашиха. — Сама налью! Не ты ведь навахляла. Садись да обжирайся!

Мотря отошла в сторону, сложила руки и тоже вздохнула.

— Чего это вы грызетесь? — отозвался старый Кайдаш. — Неужто не поладите возле одной печи? Ты, Мотря, все-таки должна уважать мать, ведь она старшая в доме, — начал поучать старый отец, — надобно же кому-то хозяйничать и наводить порядок в доме. Даст бог, пристрою хату вам, тогда будешь сама хозяйкой, но вместе все-таки жить лучше.

Ужинали молча. Мотря стояла возле посудного шкафа, словно вросла в землю. Она не села ужинать.

— Довольно тебе, дочка, сердиться, — опять начал отец, — ведь ты устала, садись и ужинай.

Мотря стояла возле шкафа, даже с места не тронулась, все смотрела в печь, где тлел в пепле жар, — ей словно бы хотелось развеселить свои глаза веселым огнем. Все поднялись из-за стола, помолились, поблагодарили Кайдашиху, а Мотря, будто сирота в чужой семье, продолжала стоять на одном месте. Карпо сел на лавку, нахмурил свои рыжеватые брови. Между бровями появились две морщинки...

В хате стало тихо, как в могиле. Небольшая керосиновая лампа без стекла мигала на столе. Старик Кайдаш, Кайдашиха и Лаврин стали перед образами и начали молиться богу. Карпо все еще сидел на лавке, а Мотря стояла возле шкафа с посудой. Лампа погасла. Карпо и Мотря, помолившись в темноте, легли спать. На душе у Мотри было тяжело, но ни одна слезинка не выступила на ее глазах.

На следующий день утром Мотря подметала в сенях пол. Она невольно услышала, как на дворе Кайдашиха вела разговор с какой-то женщиной, и все о ней. Мотря украдкой выглянула из сеней. Кайдашиха стояла, опершись на ворота, а напротив нее, голова против головы, словно они целовались, стояла на улице ее кума. Кайдашиха начала говорить тихо, но так тихо, что было слышно на весь двор.

— Вот уж, наверное, Довбыши надавали за Мотрей всякого добра, — говорила кума. — Ты еще, кума, разбогатеешь.

— Да где там, моя милая! Я думала, что такие богачи нагонят мне полон двор коров и волов, а пригнали-то одну плохую овцу, да и то сначала шерсть остригли. Что-то моя невесточка при мне не открывает свой сундук; наверное, потому, что пустой.

— Работящая ли твоя невестка? — спросила кума. — Умеет ли она что-нибудь делать по хозяйству?

— Есть хлеб хорошо умеет, — ответила Кайдашиха. — Я думала, что эти богачи хоть умеют хорошо спечь, сварить. Но мне пришлось учить невестку всему. Так что, милая, невестка моя не способна ни печь, ни варить, ни пряхть, ни шить. Вот ей-богу, если сама не доглядишь, то она сварганит такой борщ, что и собаки не станут есть; как помажет печь, следы щетки видны. А уж ругаться и меня не слушаться, наверное, сам Довбыш вместе с Довбышихой ее учили. Я скажу ей слово, а она мне десять. А что ленивая-то, и говорить не приходится. Утром бужу-бужу, кричу-кричу, а она развернется на полу, здоровая, как кобыла, да только сопит...

— От кобылы слышу! — крикнула Мотря, высунув голову из сеней. — Еще и рубахи мне ни одной не сделали, а уже осуждаете на все село.

Кайдашиха замолчала, не зная, что делать от стыда. А кума исчезла, словно сквозь землю провалилась.

Мотря хозяйничала в хате, но ни разу не взглянула на свекровь. Она вытащила рубахи из кадки для бучения, пошла на пруд стирать и вернулась домой только вечером.

«Погоди же, свекровушка! — громко говорила сама себе Мотря, развешивая рубахи на тыне, — будешь ты у меня цыганскую халандру плясать, а не я у тебя».

На другой день перед рассветом Кайдашиха крикнула с печи на Мотрю:

— Мотря! Вставай-ка пряхть! Мотря! Слышишь ты? Мотря проснулась, но не откликнулась.

— Мотря! Уже третьи петухи пропели! Вставай-ка да раскладывай щепки в печи.

— Ох, ох, ох! — застонала Мотря точь-в-точь таким жалобным голосом, как стонала Кайдашиха. —

У меня так болит поясница, что я с постели не могу встать.

Кайдашиха раскусила притворство невестки и разозлилась:

— Чего это ты вздумала дразнить меня? Думаешь, обманешь?.. Довольно тебе врать-то. Вставай и за-тапливай печь.

— Мама! Довольно вам спать! Вставайте печь топить, — крикнула Мотря, — а я немного полежу.

— Вот так дожила я, на старости лет приходится терпеть такую напасть от своих детей, — промолвила Кайдашиха. — Карпо! Толкни-ка под бок свою жену, пускай встает работать.

В хате все спали, даже храпели.

— Будь я кобылой, давно бы встала. Пускай вам кобылы прядут и варят.

Кайдашиха прикусила язык, но все же ее разби-рала злость.

— Ты с ума нынче спятила или задумала со свету меня сжить? Омелько! -- окликнула Кайдашиха своего мужа. — Слышишь ли ты, что твоя невестка вытворяет?

Старик Кайдаш лежал на лавке вверх лицом и тяжело дышал. Он вечером изрядно выпил в корчме и спал как убитый. Женский крик, резкие голоса растревожили его, и он стал кричать во сне диким, неестественным голосом. Ему приснилось, будто глубокой ночью в хату вбежала коза с красными глазами, с пламенем во рту, осветила ее, схватила передними лапами кочергу и начала хозяйничать около печи и все скалила на него красные огненные зубы. Он хотел поднять руку, перекреститься, но руки стали как железные. А коза все вертелась возле печки, потом начала плясать, высунув язык в пол-аршина. Смотрит Кайдаш на эту козу, а она вдруг превратилась в кобылу с огромной, как корыто, головой, со страшными красными глазами и пылающим языком. Кайдаш закричал не своим голосом. Сыновья вскочили с постели и бросились к отцу. Мотря и Кайдашиха перестали ругаться и тоже встали. Только когда Карпо перевернул отца на бок, тот проснулся и пришел в себя.

— Батя! Чего вы так кричите? Вам, наверное, что-нибудь страшное приснилось? — спрашивал Карпо отца.

Кайдаш поднялся, сел на полати и долго протирал глаза. Страшный сон перепугал его. Он встал и начал молиться богу перед иконами. Ему все казалось, что это наказание за святую пятницу да за то, что он в эти дни не постился, а по вечерам допьяна напивался в корчме.

Такое неожиданное происшествие сомкнуло рты свекрови и невестке. Они обе взялись за работу, но Мотря не подметала пол в хате и все косилась на свекровь. Свекровь тоже поглядывала то на веник, то на невестку, а потом вытащила из сундука рубаху и села у окна шить. Мотря отомкнула свой сундук, вытащила свою старую рубаху и тоже примостилась возле другого окна чинить ее.

Обед доваривался в печи. Борщ в чугушке, придвинутом к углям, время от времени булькал и клокотал так, словно по нему хлопали ложкой. Хата была не подметена. Свекровь глянула на невестку исподлобья и промолвила:

— Почему это ты, Мотря, села шить? Разве ты не видишь, что в печи обед еще не доварен, а в хате пол до сих пор не подметен?

— Да вижу, не ослепла, — отозвалась Мотря, протягивая нитку в ушко.

— Гляди, чтобы ты и в самом деле не ослепла. Шить сядешь после обеда, когда управишься.

— Ох, ох, у меня почему-то так спина болит, так руки ноют, — начала Мотря тоненьким голоском, передразнивая свекровь.

— Дразнись, дразнись! — продолжала свекровь. — А ну-ка бросай рубаху да подметаю пол, говорю тебе. Я в доме хозяйка, а не ты. Делай то, что тебе велят.

— А я вам, мама, не батрачка. Я и у родной матери не была батрачкой. Коль начали вы считаться, так давайте работать поровну. Подгонять и у меня хватит ума, только было бы кого.

— Не выдумывай черт знает чего. Когда я была у господ, то работала за двоих таких, как ты: готовила обед на двадцать душ, а ты на пять не управляешься.

— Работали, потому что над вами барин с нагайкой стоял.

— Если хочешь, то и я над тобой стану с нагайкой. Замолчи! А то возьму кочергу, так ты и зубов не соберешь! — крикнула Кайдашиха и вскочила с места.

— Вы мне не родная мать: зубов не давали, не имеете права и выбивать. А у кочерги два конца: один по мне, другой по вас.

— Карпо! Слышишь, что твоя жена вытворяет? Почему ты ей ничего не скажешь?

Карпо слушал весь этот разговор и не знал, что им сказать. В хату вошел Кайдаш. Кайдашиха стала и ему жаловаться на невестку.

— И кто надоумил нас брать невестку у этих богачей? — закричала Кайдашиха. — Лучше бы взяли цыганку, чем с пустым сундуком богачку.

— Я вашего сына не упрашивала брать меня; я к вам с хлебом и солью не ходила, пороги ваши не обивала. Вы сами ко мне пришли, — ответила Мотря более тихим голосом, побаиваясь свекра.

Старый Кайдаш рассердился на невестку и стал ее бранить:

— Мотря! Коль ты наша, так слушайся мать и делай все, что она велит. Не сегодня ведь тебя к нам привезли. Хлеб-то наш ешь, вот и работай на нас, а коль будешь отказываться, так мы тебя заставим быть послушной.

— Разве я ваш хлеб даром ем? С утра до вечера рук не покладаю...

— А ты хотела бы сложить руки да посиживать? Чего это ты так разошлась? Я не посмотрю тебе в зубы!.. — крикнул Кайдаш, и его темные глаза заблестели; он замахнулся рукой на Мотрю.

— Батя! У Мотри есть муж, — сказал, потупясь, Карпо, — вы не очень-то на нее замахивайтесь кулаками.

Кайдаш вспыхнул, как пламя.

— А почему ты защищаешь свою жену? — закричал он на Карпа. -- Коль хочешь, то и тебе нос утру.

— Нет, не утрете! Я ведь не маленький, — отрубил Карпо.

Бледное лицо отца стало желтым, как воск. Кайдаш бросился к Карпу. Тот поднялся со скамьи и стал как столб.

— Что вы фыркаете мне в глаза, будто сговорились. Разве я вам не отец? Разве я не имею права навести порядок в своем доме?

— Батя, не замахивайтесь на меня руками, у меня тоже руки есть! — произнес Карпо и побледнел. Его красные губы побелели, как полотно.

— Ох, как возьму я налыгач¹ да так вас обоих проучу, что будете слушаться меня.

— Батя, прошу вас, не подходите ко мне, — сказал Карпо, бледный как смерть, — а то и я налыгач найду.

Кайдаш видел, что Карпо не шутит. Когда сын был еще маленький, и то, бывало, не смолчит, теперь же по всему было видно, что он не бросал слова на ветер.

— Тьфу ты, сатана! — сплюнул Кайдаш в сторону и хлопнул дверью с такой силой, что с полки полетел горшочек и разбился на кусочки.

— Так, сынок, так, хорошо же ты разговариваешь с отцом, да еще и женушку свою этому учишь! Ты лучше взнуздай ее бечевкой да припаси на нее кнут с пуговкой! Ну и взяла себе невесточку! Взяла беду себе в хату!

Мотря сидела у окна красная, как жар, и бессмысленно плутала ниткой вдоль и поперек по воротнику да по груди. Карпо вышел из хаты и тоже хлопнул дверью так, что зазвенели окна. Кайдашиха и Мотря остались в хате вдвоем. Сидели возле окон одна против другой, не отводя глаз от шитья. В хате стояла тишина, только борщ время от времени хлюпал огромными пузырями, словно дряхлый дед ворчал, а густая каша будто стонала в горшке, поднимая вверх затвердевшую корку. Зимнее солнце весело заглянуло в окно, заиграло розовым светом на белой печи, на белом дымоходе и нарисовало на полу четыре стекла с темными рамами и причудливыми рисунками простого прыщеватого стекла. Женщины продолжали сидеть одна против другой, все шили и от злости понашивали такое, что потом пришлось им долго пороть и

¹ Н а л ы г а ч — веревка, которой привязывают за рога скотину.

распутывать. Они шили, но искоса все же посматривали на пакостный веник, что стоял в углу возле кухонного шкафа.

В хату вошел Лаврин, взял веник и стал подметать пол. От окна к печке, казалось, протянулись огненные столбы, вытканые из солнца и мелкой пыли, которая, будто мошकारа, шевелилась в ярких лучах.

Все мужчины были в сборе. Мотря стала наливать борщ. Мужчины сели за стол; села и Кайдашиха.

— Ну, помирились уже? — спросил отец, обращаясь к хозяйкам. Свекровь и невестка молчали. Карпо сидел за столом и молча обедал. После того как Карпо женился, он словно бы вырос в своих глазах. Каждый упрек отца казался ему особенно тяжелым. Его мысли витали вокруг новой хаты, в которой он самостоятельно заживет со своей женой, будет хозяйничать без отца, без матери и ни от кого не услышит никаких приказаний и предупреждений.

С той поры уже не было мира между свекровью и невесткой. Они поглядывали друг на друга исподлобья. Хотя Мотря и не очень-то считалась со свекровью и свекром, но ей не переставало казаться, что в хате почему-то тесно, — будто ее душат стены, душит потолок, душит печь.

Приближались рождественские святки. Работы стало еще больше. Мотря обмазала сени, помыла скамейки, посудную полку, шкаф, полочки. Накануне праздника закололи кабана. В хате стоял ералаш. Кайдашиха продолжала покрикивать на Мотрю, но и та не оставалась перед ней в долгу.

— Мама! Не кричите на меня, — говорила Мотря, возясь с колбасами. — Я и без вас управлюсь. Лучше лягте на кровать да, по мне, хоть возьмите в руки бандуру, курите трубку, как наша госпожа экономша.

Накануне рождественских праздников Мотря ждала, что Кайдашиха купит ей какую-нибудь новую одежду. Кайдашиха отрезала для нее лишь кусок материи на новую запаску.

На третий день рождества Мотря вытащила из сундука свою новую юбку, привезенную от отца. Юбка была широкая и очень нарядная — зеленая, с красными розами. Мотря повесила юбку на колышке, тор-

чавшем под потолком. Кайдашиха только искоса по-сматривала на эту юбку.

Мотря пошла в чулан, надела там юбку и красную запаску. Вошла в хату и перед самым носом свекрови все прохаживалась да расправляла складки на одежде. Свекровь будто и не глядела на юбку.

— Вот так юбку купил мне Карпо к празднику! — сказала Мотря и стала перед Кайдашихой, да еще и растянула двумя руками широкую юбку.

— Отцу своему покажи, он богатый! — ответила Кайдашиха, не глядя на юбку.

— Сегодня обязательно пойду к отцу и покажу ему, только не эту, а черную запаску, которую вы дали мне к празднику.

— Ой, господи! Неужто и на рождество перед обедней придется ругаться, — промолвила Кайдашиха. — Из-за тебя у меня нет ни праздника, ни воскресенья. Разве не слышишь? Вон и в церкви звонят!

В один из дней великого поста Кайдашиха принесла от ткачихи хорошее тонкое полотно и полотенца. Все это она спрятала в свой сундук, да еще и закрыла на замок.

— Мама, не запирайте! Хоть я тоже приложила свои руки к полотну, но красть его не буду, — промолвила Мотря; однако ей очень хотелось отрезать свою часть и запереть в собственном сундуке.

Наступил великий пост. До пасхи осталось уже немного времени. Весна была ранняя. На пятой неделе вышел в поле даже вдовый плуг. Мотря уговаривала Карпа:

— Разве не видишь, как твоя мать одевает меня? У матери я ходила нарядной, как мальва, а твоя мать одевает меня, как нищенку. Попроси отца, чтобы он дал мне денег на новый платок и на юбку. Куплю себе к пасхе новую одежду, хоть оденусь как люди.

Карпо и сам хотел украсить свою жену так, как весна украшает землю цветами. И он попросил у отца денег.

— А где я возьму тебе столько денег? — ответил отец. — Ведь твоя жена не девка: ей замуж не выходить. Вот мать пойдет в Корсунь на ярмарку, тогда и купит, что нужно.

Кайдашиха и в самом деле поехала на ярмарку. Мотря тоже хотела поехать, но свекровь не взяла ее.

Вечером Кайдашиха приехала с ярмарки и привезла Мотре платок и материю на юбку. Мотря развернула платок. Он был черный, в маленьких цветочках.

— Наверное, хотите меня в монашки постричь, — промолвила Мотря и бросила платок на стол. Она взглянула на материю для юбки; материя была дешевенькая, темная, с красными точками. Мотря даже не развернула ее и отошла от стола.

— Я так и знала, что не угожу тебе. Не знаю, кто тебе и угодит, — сказала Кайдашиха, рассердившись, — вишь, какая барыня! Выросла в такой роскоши.

Мотря молчала. А как ей, молодой женщине, хотелось на праздник покрыть голову роскошным красным платком.

Мотря только тихо вздохнула. «Не вольная моя воля в этой хате», — подумала она. А ей так хотелось и свободы, и собственной хаты.

IV

Наступило лето. Началась жатва, в поле закипела работа.

Семья летом мало сидела дома, и потому меньше стало ругани. Во время горячей работы в поле некогда было ссориться. Семья Кайдаша сжала свой хлеб, пошла к помещику косить от снопа. Мотря быстро жала, и они с Карпом заработали больше коп, чем Кайдаш с женой.

Осенью Мотря родила ребенка. Кайдаш справил крестины. Карпо еще больше вырос в своих глазах. Теперь он считал себя настоящим хозяином, во всем равным отцу. У него откуда-то взялось и уважение к самому себе. Отец был очень рад внуку и на крестинах пообещал пристроить для Карпа комнату через сени. Маленький ребенок как будто примирил свекровь с невесткой. Кайдашиха льнула к своему внуку, как к родному ребенку, учила невестку, как купать дитя, как пеленать, и опять заговорила с невесткой сладким голосом. Мотря ненавидела этот льстивый голос, но

все же к свекрови стала относиться ласковее. Пока она была слабой после родов, Кайдашиха была ей очень полезна. Но не так стало, когда ребенок начал подрастать. Кайдашиха все время тешилась внуком, качала его, убаюкивала, а Мотря должна была выполнять всю тяжелую работу и за себя и за свекровь.

Карпо и Мотря, заработав себе хлеба, знали, что теперь едят они не отцовский хлеб, а свой. В стогах стояли рожь и пшеница, в которые они вложили больше труда, чем отец и мать. В сундуке Кайдашихи лежало полотно, в котором, может, лишь третья нитка была нарядена Кайдашихой, и Карпу и Мотре стало еще тяжелее зависеть от отца. Беда в хате лишь затихла и притаилась, точно гадюка зимой. Однако, как только пригрело весеннее солнышко, женщины первыми отогрели эту гадюку. И она подняла голову, зашипела на всю хату Кайдаша, на весь его двор.

После покрова Кайдашиха вытащила из сундука два отреза полотна: один кусок старого, грубого и не отбеленного, а другой — тонкого, хорошего, наряденного вместе с Мотрей. Кайдашиха раскроила толстое полотно на сорочки старому Кайдашу, Карпу, Лаврину и Мотре, а себе отрезала тонкого полотна на три сорочки и сразу спрятала отрез в сундук.

— Мама, а не отрежете ли вы мне тонкого полотна, хотя бы на одну праздничную сорочку? — спросила Мотря, едва сдерживая себя.

— Мне грубая сорочка режет тело, а ты, Мотря, еще молода — носи пока что грубые сорочки, — ответила Кайдашиха.

— А вы думаете, мне грубая сорочка не режет тело?

— Видишь ли, дочь, ты ведь не ходишь к господам и священникам, а меня они приглашают варить обед, зовут к себе в комнаты ужинать, да еще в покоях спать укладывают, и под бока пуховики кладут. Как же мне идти к таким людям в грубой сорочке?

— Хотя господа и не кладут мне под бока пуховые подушки, но я тоже пряла на тонкое полотно, и, может быть, больше, чем вы, — ответила Мотря.

— Вот так сказала! Что ругалась, так в самом деле больше. Не привыкай к тонким сорочкам, ведь кто

знает, какая еще у тебя жизнь будет в собственной хате, — продолжала Кайдашиха.

— Да как бы там не было, но хуже не будет, чем у вас. Хоть бы на одну праздничную сорочку отрезали. Неужто я у вас не заработала и этого?

— Вот прицепилась, заноза! По мне, бери хоть все полотно да обернись с головой. Ты мне так уже осточертела, что и не знаю, как от тебя отделаться, — сказала Кайдашиха.

Мотря отвернулась к окну и заплакала впервые с того времени, как перешагнула порог свекра. Ей стало обидно, что свекровь попрекает ее тем, к чему она приложила немало труда. Мотря украдкой утерла рукавом слезы.

Она взяла отрезанное для нее полотно и швырнула его на лавку. Долго оно лежало на лавке, надувшись, будто сердилось на невестку. Мотря достала из сундука красные и синие нитки и уже вечером села вышивать на рукавах цветы. Цветы получались огромные, неуклюжие, словно бы вышивала она их на мешке или на рядне. Мотря плюнула, перестала вышивать роскошный хмель и только кое-где украсила рукава кружками и маленькими звездочками.

Сшила Мотря себе сорочку, выстирала ее и надела. Грубое полотно было синее. Она поглядела на себя в зеркало, и ей показалось, что в этой сорочке ее лицо почернело и брови стали не такими красивыми.

«Жила я у отца, личико мое было беленькое и брови черненькие, а у свекра личико мое исхудало и брови полиняли,—подумала Мотря, разглядывая себя в зеркале.— Изведет свекровь, лютая змея, мою жизнь молодую».

Как-то раз свекровь зашла в корчму и там, навеселе, осуждала невестку на все село за то, что ей ничем не угодишь: что ни купишь, все для нее плохое, дешевое и не к лицу.

Молодые женщины дословно передали Мотре все, что о ней говорила в корчме свекровь.

«Погоди-ка, свекровушка, не буду я больше прятать тонкое полотно для твоей барской кожи», — подумала Мотря и с тех пор стала напряденные нитки прятать в свой сундук.

— Зачем ты, Мотря, нитки прячешь в свой сундук? — спросила Кайдашиха.

— Затем, что нужно; не буду ведь я их есть, — отрубил Мотря.

— А может, и поешь, кто тебя знает, — сказала Кайдашиха.

— Не бойтесь, в корчму не понесу, не пропью и не буду во хмелю вас осуждать, как вы меня.

— Что же ты будешь с ними делать? — спросила мать.

— Намотаю на мотовило¹, сделаю основу и выделаю тонкого полотна себе на сорочки. Может, и под мой бока кто-нибудь положит подушки...

Кайдашиха догадалась, к чему клонится, и немного забеспокоилась. Она пряла лениво, а Мотря очень старалась возле гребня; Кайдашиха боялась, чтобы Мотря не выпряла всей пряжи.

— Так это ты думаешь моей пряжей себе хозяйство собрать? — спросила Кайдашиха.

— Пряжа такая ж ваша, как и моя. Разве я не выбирала коноплю, не мочила ее, не била на трепалке, не теребила? А может, больше, чем вы?

Кайдашиха умолкла. Ей казалось, что невестка этого не сделает, а лишь мстит ей за грубые сорочки.

Однако как-то днем после обеда Мотря вытащила из своего сундука десять толстых веретен с нитками, взяла мотовило и собралась мотать. Кайдашиха увидела, что это уже не шутки, и вспыхнула.

— Шутишь ли ты, молодуха, или дразнишь меня? — спросила свекровь Мотрю.

— Мне не до шуток, — ответила Мотря, размахивая мотовилом, которое, качаясь в ее руках, касалось матицы.

Кайдашиха обиделась.

— Отдай мотовило! Оно не твое, а мое. Принеси-ка от своего отца, да и мотай на нем хоть свои жилы, мне все равно, — крикнула Кайдашиха и схватила мотовило.

— Нет, не дам, оно и мне нужно, — ответила Мотря, не выпуская из рук мотовила.

¹ Мотовило — приспособление для наматывания ниток с веретена.

— Дай сюда, говорю тебе! — крикнула, свирепея, Кайдашиха на всю хату. — Я сама сейчас буду мотать.

— Нет, не дам! У вас мотать нечего, вы еще ничего не напружили, — закричала Мотря тоже на всю хату и ухватила мотовило обеими руками.

— Уйди прочь, к чертовой матери! Отдай мотовило, говорю тебе! — завопила Кайдашиха не своим голосом и схватила мотовило обеими руками.

— Нет, не дам! Может, драться начнем, что ли? — крикнула и Мотря, дернув мотовило к себе.

— Дай.

— Нет, не дам!

— Дай, говорю тебе!

— Нет, не дам!

Женщины подняли страшный крик. Мужчины прибежали в хату. Им казалось, что мать и невестка дерутся. Посреди хаты стояли друг против друга Кайдашиха и Мотря, дергая мотовило каждая к себе. Обе злые, с блестящими глазами. Веретено каталось по полу. Старик Кайдаш, Карпо и Лаврин вытаращили глаза, не понимая, из-за чего между ними произошла такая ссора. Свекровь и невестка так рассвирепели, что даже не заметили вошедших мужчин.

— Дай сюда, а то так толкну, что ты и ноги задерешь! — кричала Кайдашиха, таща к себе мотовило.

— Отвяжись, а то и я сумею толкнуть, — кричала не своим голосом Мотря, дергая к себе мотовило.

— Да вы рехнулись или взбесились, — произнес Кайдаш, — аль в крестика¹ играете? Бросьте мотовило!

Но свекровь и невестка не слушали Кайдаша, а, схватившись за мотовило, таскали друг друга по хате.

— Да это они, видать, в ворона играют, — насмешливо отозвался Лаврин.

— Ну и забавная игра! Мотря, брось мотовило, а то возьму вот кочергу, да и огрею тебя по рукам.

Кайдаш схватил кочергу, замахнулся ею на невестку, но свекровь и невестка будто его и не видели, — продолжали орать да браниться. В этот день была

¹ Крестик — здесь: детская игра.



пятница, и старый Кайдаш постился. Он был голоден и зол. Женский крик раздражал его.

— Бросьте мотовило, а то обеих отлуплю кочергой! — заорал он на всю хату.

Женщины стояли бледные как смерть и со злости едва дышали, у них не хватало сил бросить мотовило. Тогда Кайдаш изо всей силы ударил об пол

кочергой и, вырвав из их рук мотовило, поломал его в щепки. Только после этого свекровь и невестка разошлись по сторонам.

— Чего вы ругаетесь? Чего ссоритесь? — спрашивал Кайдаш. — Господи! Ведь нынче святая пятница, а они, как назло, только доводят тебя до греха. На что тебе, Мотря, это мотовило?

— Чтобы свои початки мотать. А то ведь у вас хорошей сорочки не заслужишь, — ответила Мотря.

— Она хочет отдельно от нас пряхь себе на полотно, — промолвила Кайдашиха, едва дыша.

— Зачем же тебе пряхь отдельно? Тебе полотно не дают, что ли? — спросил Кайдаш у Мотри.

— Хочу пряхь, потому что имею на то право, — ответила Мотря.

— Батя, ставьте поскорее нам хату, — отозвался Карпо.

— Ты бы лучше своей жене немного крылья подрезал, чтобы она не так высоко залетала, — ответил отец.

— А разве моя жена курица, чтобы я ей крылья подрезал? — промолвил Карпо.

— Карпо, если хочешь, чтобы твоя чуприна была целой, лучше не зли меня.

— Руки короткие у вас до моей чуприны! — отозвался Карпо.

— Ты думаешь, что мои руки не доросли до твоей чуприны? — кричал отец.

— Наверное, уже переросли... Мать обижает жену, а вы — меня, — произнес Карпо.

— Кто же тебя обижает? Да разве я тебе есть не даю? — крикнул отец.

— А разве вы когда-нибудь дали мне хоть одну копейку в руки? Я работаю, а вы деньги прячете в свой сундук.

— А зачем тебе деньги? Может, пропить их хочешь? — сказал отец.

— Да хоть и пропить. Какое вам до этого дело? — ответил Карпо.

— Так ты меня еще будешь учить на старости лет! — кричал бледный как смерть старый Кайдаш, подступая к Карпу.

— Батя, не подступайте ко мне! Я работаю и имею право на свое добро. Отделите нас.

— Так ты из-за своей глупой жены будешь еще корить меня? Чего ты, иродова дочь, грызешься с матерью? — закричал старый Кайдаш, размахивая поломанным мотовилом. — Хочешь быть старшей в хате, что ли? Или ты хочешь, чтобы мать батрачила у тебя? Я сейчас посчитаю тебе ребра вот этим мотовилом.

Кайдаш замахнулся на Мотрю и задел ее мотовилом по руке.

Между отцом и Мотрей стал Карпо, словно из земли вырос.

— Батя, не бейте Мотрю, — крикнул он испуганно, — какое вы имеете право бить мою жену?

— А почему она не слушается матери и поднимает скандал в моей хате?

— Тут не Мотря виновата, а мать. Она всю тяжелую работу взваливает на Мотрю, а сама ничего не делает, лентяйничает.

— И это ты говоришь о своей матери? — крикнул Кайдаш.

— Так это ты из-за своей жены меня поносишь? — вопила Кайдашиха, подступая к Карпу с другой стороны. — Вот чего я дождалась на старости лет от своих детей!

— Как ты смеешь говорить такое про свою мать? — произнес строго Кайдаш и подошел еще на шаг к Карпу.

— Батя! Не подходите, — спокойно, но грозно проговорил Карпо, стоя неподвижно на одном месте.

— Из-за твоей жены, из-за этой лентяйки, не стану я на старости такую обиду сносить! — закричала, даже завизжала Кайдашиха, ударяя кулаком об кулак перед самым носом сына.

Карпо даже бровью не моргнул. Он только вытирашил глаза еще больше, так что они стали совсем круглыми.

— Я на тебе разобью это мотовило в щепки, если ты не уймешь свою жену! — крикнул Кайдаш, подходя к Карпу еще ближе.

Однако Карпо не попятился и не отклонился в сторону, а лишь побледнел, хмуро поглядывая на отца.

— Батя! Отойдите, избавьте меня от греха!

Кайдаш и Кайдашиха то подступали к Карпу, то вновь отступали, подобно тому, как волны отходят от скалистого берега, ударившись в него. Карпо стоял как утес. Будучи не в силах сдержать себя, старый Кайдаш так разошелся, что набросился на Карпа с кулаками и толкнул его в грудь. Карпо побледнел точно смерть, а его крепко сжатые тонкие губы стали совсем белые, как полотно.

— Батя! Не деритесь! — едва промолвил Карпо.

Кайдаш, бледный, с темными сверкающими глазами, опять набросился на Карпа.

— Батя! Возьмите лучше топор и одним ударом зарубите меня, — промолвил Карпо, едва дыша; он почувствовал, что вся кровь прилила к его голове, залила ему уши, глаза; он почувствовал, как в ушах у него зазвенело, зашумело, зашелестело, а перед глазами все закружилось... — Не лезь, иродова душа, а то задую! — крикнул Карпо и, точно зверь, бросился на отца, толкнув его обеими кулаками в грудь.

Старый Кайдаш как стоял, так и упал навзничь, задрал ноги. Поломанные кусочки мотовила выпали у него из рук и ударились о печь.

Кайдашиха, Мотря и Лаврин закричали в один голос. Лаврин с матерью бросились защищать отца, став между ним и Карпом. А тот, отступив на два шага к столу, белый как мел, опять застыл на месте, будто скала. Его черные глаза погасли и поблекли, а волосы на голове стали дыбом и торчали, как у ежа. Мотре стало неловко, что из-за нее сын побил отца.

Лаврин с матерью подняли отца и усадили на лавке. Кайдаш не в силах был даже вымолвить слово, только стонал. Он не так сильно ушибся, как разволновался. Непочтительность сына, стыд перед своими детьми, гнев и злость — все слилось в его душе воедино, зажгло грудь так, что ему казалось, будто на смерть поразил его Карпо.

— Бога нет в твоём сердце! Не случайно ведь ты в церковь не ходишь, — через силу произнес Кайдаш, продолжая стонать.

Кайдашиха стала громко плакать. Лаврин хмурил брови. Он готов был наброситься на Карпа и оборвать волосы на его голове. Лишь Мотря спокойно



села на скамью, сложила руки, поглядывая то на печь, то под печь.

У Карпа кровь отлила от лица. Перед его взором уже перестал кружиться мир. Он взял шапку и вышел из хаты.

— Это все из-за тебя, невесточка! — сказала Кайдашиха, ударяя кулаком по кулаку.

— Может быть, из-за меня, а может, и из-за вас,— преспокойно ответила Мотря, глядя под печь..

— Хватит, довольно вам! Вот построю вам хату, а там хоть головы друг другу сворачивайте, мне все равно,— сказал Кайдаш.

— Но раньше сделаете мне и матери два мотовила,— спокойно промолвила Мотря.

— Чтоб тебе добра не было с твоим мотовилом. Из-за твоего мотовила сын побил отца. Ох, горе мне! Родные дети — и не дадут своей смертью умереть,— плакалась Кайдашиха. — Хоть сейчас беги из своей хаты к соседям.

Тоскливый зимний вечер заглянул через окно в хату. Густые тени, появившиеся по углам, как бледная и печальная смерть, навеяли спокойствие на раздраженную и разгневанную семью. Свекровь и невестка только тяжело вздыхали. На скамье, подпирая голову ладонью и опираясь локтем на колено, сидел старый Кайдаш, сидел молча и тоже вздыхал. На бледном широком лбу, на опущенных веках лежала глубокая тяжелая скорбь, обида и горечь запечатлелись на его лице. Он целый день не ел. У него сосало под ложечкой. Он встал, накинул на себя свитку, надел шапку и пошел в корчму поминать святую пятницу да заливать водкой свой позор.

Карпо вышел из хаты в одной рубахе. Он пошел в сад и остановился под грушей за сараем. Первый свежий снег будто тонким дорогим полотном покрыл холмы и долины. Все небо было затянуто сплошными тучами, как молочным туманом. Карпо смотрел на голые холмы, которые в вечерней мгле сливались с белым небом, так что нельзя было разглядеть, где кончались они, а где начиналось небо. Он глядел на черную длинную цепь холмов, которые от густого дубового леса казались темнее, будто покрытые черным сукном. А раньше он ничего этого не замечал. Его душа ушла куда-то глубоко; он словно одеревенел от страшного поступка, который только что совершил. Мягкая прохлада отрезвила Карпа. Из головы его начал улетучиваться какой-то чад, и он понемногу стал замечать хаты, горы, лес; он видел, как отец вышел со двора, пошел мимо пруда по дороге на плотину, вошел в корчму, как там в окнах замерцал

огонек. Он заметил еще группу мужиков, которая чернела и двигалась на белом снегу возле корчмы. Все это он видел как в воде, на дне неглубокой прозрачной реки.

Холод стал пробирать Карпа до костей. Он почувствовал, что продрог до самых пят, а голова будто огнем пылает. Повернулся и головой задел ветку груши, покрытую снегом. Пушинки снега посыпались на голову, на плечи, на голую шею, за пазуху. Только тогда он пришел в себя, взял горсть снега и, приложив его к голове, медленно поплелся в хату.

В хате тихо и тоскливо; никто даже губами не пошевелил; казалось, что только огонь, пылавший и потрескивавший в печи, был единственным живым, веселым существом в мертвой хате. Уже и свет погас в хате, а Кайдаш все сидел в корчме, пил водку с кумом. Там и заночевал.

На следующий день перед обедом Кайдаш вошел в хату и принес два новых мотовила.

— Вот вам два новых мотовила; по мне, хоть глаза повыкальвайте ими, — сказал Кайдаш, бросая их на скамью.

Мотря радостно посмотрела на мотовила и сразу же после обеда вытащила из своего сундука початки и начала мотать. Новое мотовило гудело в ее руках, время от времени касаясь даже поперечной балки потолка. Ни один царь не размахивал с такой радостью скипетром, как Мотря своим мотовилом. Она почувствовала в себе дух самостоятельной хозяйки. А свекровь одолевала злость. Ей казалось, что невесткино мотовило гудит так, как гудят кусливые шмели вокруг ее головы.

«Пропадут мои конопельки! — подумала Кайдашиха. — Проворная невесточка попрядет их себе на полотно раньше меня».

А невестка, посчитав начесы и пасма, продолжала мотать початки, а потом сняла полмотка с мотовила и спрятала его в свой сундук.

— Прячь, невесточка, прячь в свой сундук все, что попадется. Скоро все наше добро, да еще и нас туда втиснешь, — промолвила свекровь.

— Не бойтесь! Такое добро не спрячу, а если бы даже и нашла вас в своем сундуке, так тут же на улицу вышвырнула, — ответила невестка.

На следующий день Мотря собрала только свои сорочки да рубахи Карпа и намочила их.

— Почему же ты не собрала и не намочила все рубахи? — спросила мать.

— Потому что всех вас я больше обстирывать не буду. Постирайте-ка теперь сами: ведь у вас руки тоже есть.

— Зачем же делать одну работу дважды? Разве мало дел в хате? Зачем ты лишний раз плещешь на пол? — сказала Кайдашиха.

Однако Мотря не слушалась свекрови. Она отжала свои сорочки, на второй день отбелила в золе, постирала и откатала их. Кайдашихе пришлось самой стирать свое белье. Она об этом не сказала даже мужу, потому что боялась повторения ссоры. Свекровь думала, что все это как-то перетрется, перемелется, да так и пройдет. Но оно так не прошло.

Однажды Мотря испекла хлеб, и он не удался. Она подала его на стол к борщу; хлеб был липкий, с закалом на два пальца. На беду, и борщ получился невкусный.

— Борщ совсем невкусный, — сказал Лаврин.

— Да и хлеб испекла, хоть лошадки лепи! — сердито промолвила Кайдашиха.

— Даже в горле давит, — отозвался и старый Кайдаш.

Как назло, Лаврин шутя взял и вылепил из мякиша коня, поставил его на стол, да еще и хвост задрал ему.

Мотря взглянула на коня и вскипела так, будто ее обдали кипятком. Она скорее снесла бы обиду, чем насмешку.

— Ругали, били, а теперь уже глумятся надо мной! — закричала Мотря и бросила ложку на стол.

— Чего ты швыряешь нам всем в глаза! Чести не знаешь, что ли? — сказал старый Кайдаш.

— Коли хочешь сердиться, то сердись, но на святой хлеб не бросай ложку, — отозвался Карпо, впервые обозлившись на жену. — Борщом всем глаза позабрызгала. Да ты и вправду больно разошлась.

— Так варите и пеките себе сами. Я ничем вам не угожу, — сказала Мотря, отойдя к печке.

— Если бы ты была батрачкой, тогда могла бы уйти от нас, а мы пекли бы и варили себе сами, — ответил Кайдаш.

«Вы и так будете сами печь и варить», — подумала Мотря и решила варить обед только для себя и Карпа.

На другой день Мотря встала очень рано, села себе прясть, потом затопила печь, отыскала два небольших горшочка и в одном приготовила борщ, а в другом кашу; как раз столько, сколько нужно было для двоих. Она решила, что они с Карпом и ужинать будут отдельно.

Кайдашиха спала себе крепенько на лежанке. Пламя потрескивало в печи, кипятик булькал, а она нежилась в теплой постели, думая, что невестка варит обед для всех. Начало уже светать. Кайдашиха слезла с лежанки, заглянула в печь и увидела там только два маленьких горшочка.

— Что ты, Мотря, варишь в этих горшочках? — спросила она.

— Борщ и кашу, — ответила Мотря.

— А почему ты готовишь обед в таких маленьких горшочках? Сегодня ведь не пятница; отец тоже будет обедать.

— Будет обедать, если вы наварите, потому что я для всех вас варить больше не буду. Я вам ничем не угожу. Варите себе сами, вы же учились этому у господ.

На дворе совсем рассвело. Семья садилась есть рано, а Кайдашихе только сейчас пришлось братья за сырую свеклу и капусту.

— Ох, господи милосердный! Наверное, ты задумала сжить меня со света! — крикнула Кайдашиха. — Ты что это вытворяешь?

— То, что видите.

— Вари борщ в большом горшке!

— Для кого? Мой борщ уже доваривается, — ответила Мотря спокойно, но насмешливо.

Кайдашихе пришлось самой готовить обед.

Взошло солнце. Мотря позвала Карпа есть и поставила на стол борщ. Он удивился.

— Что это ты, Мотря, выдумываешь? Опять хочешь рассердить отца?

— Садись и ешь! Носишься тут со своим отцом. Ему мать наварит, а я больше не буду готовить для всех.

Карпо не знал, садиться ли ему за стол или нет.

Кайдашиха подняла крик на всю хату, на весь двор. В хату вбежал Кайдаш, а за ним Лаврин.

— Погляди-ка, что твоя невесточка выделывает! — крикнула Кайдашиха, выхватив из печи маленький горшочек с кашей.

Старый Кайдаш вытаращил глаза на горшочек, не зная, что к чему.

— Смотри! Что это такое! — говорила Кайдашиха, тыкая горшочек с кашей под самый нос Кайдашу.

— Каша. Что же это, если не каша, — ответил Кайдаш. Он не обратил внимания на то, в каком горшке была сварена она.

— Да ты посмотри, в каком горшке эту кашу сварила твоя невесточка, — продолжала Кайдашиха.

— В щербатом, что ли? — спросил Кайдаш.

— В щербатом... А хватит ли этой каши на всех? — продолжала Кайдашиха, разозлившись на Кайдаша за то, что тот не понимает, в чем дело.

— Леший вас знает, в каком там горшке вы готовите кашу. Деритесь себе вдвоем, но меня не впутывайте, — сказал Кайдаш, сердитый на женщин.

— Да разве не видишь ты, что твоя невесточка сварила обед только для себя и Карпа! Она хочет обедать отдельно, — промолвила Кайдашиха.

— А по мне, пускай обедает отдельно, да еще и пояс распустит, — ответил Кайдаш. — Мне все равно — пускай слопает эту кашу вместе с горшком...

Старому Кайдашу хорошо запомнилось мотовило. И до сей поры у него болела спина.

— Я уж не знаю, что будет дальше. Возьму да и уйду на квартиру. Почему ты, Омелько, ничего не скажешь этой сатане?

Омелько боялся, чтобы из-за этой каши ему не пришлось второй раз задирать ноги, и потому молчал.

— Если ты ей ничего не скажешь, так я сама выброшу этот обед свиньям, — сказала Кайдашиха и

швырнула горшок с кашей в помойное ведро. Горшок шлепнулся в чан. Помои брызнули на стену и залили ее до самой полки.

Мотря еще пуще взъерепенилась:

— Если вы мою еду бросаете в помойку, то к вашему хлебу я даже не притронусь. Ваш хлеб, как тяжелый камень, давит мне вот здесь в горле. Возьмите уж и этот борщ, что я сварила, отдайте его хоть собакам, мне безразлично.

Разозлившаяся Мотря схватила со стола миску с борщом и бросила ее под ноги свекрови. Миска разлетелась вдребезги: картошка покатила под печку.

— Тьфу! — плюнул старый Кайдаш и пошел в сарай делать телегу.

— Тьфу! — плюнул Карпо и тоже вышел из хаты.

Лаврин присел и шутливо плюнул в самую кучку свеклы и фасоли, а затем вышел следом за ними.

В хате остались одни женщины. Кайдашиха, как каменная, стояла возле печи над разбитой миской. Мотря, как жердь, стояла у стола и смотрела на широкие полосы на стене возле помойного ведра.

В хате царила тишина, только в печке трещали шкварки в кастрюле, так сердито и громко, будто одновременно кричали десять баб, схватив друг друга за косы. Сало шипело, как змея, булькало, визжало, как свинья, застрявшая в плетне, гоготало, как гусыня, лаяло, как собака, пицало, скрежетало, а потом будто завыло: гвалт, гвалт, гвалт! Кастрюля, пропитанная салом, загорелась. Сало зашипело и подняло огромный язык пламени, лизнуло челюсти топки и загудело, как ветер, в печи.

Кайдашиха, повернувшись и увидев море огня в печи, выхватила оттуда кастрюлю и накрыла ее тряпкой. Кастрюля погасла, но по хате пошел такой чад, такой удушливый дым, что Кайдашиха закашлялась. Потушив кастрюлю, она крикнула Мотре:

— Да возьми-ка ты хоть веник и подмети, коль посреди хаты насорила своим борщом, или, по мне, спрячь это добро себе в сундук.

Мотря взяла веник, подмела черепки, свеклу, картошку и бросила все это в помойное ведро.

— Приготовила обед для свиней; уж кто-кто, а они нынче поблагодарят тебя за хлеб, за соль, — сказала Кайдашиха.

Мотря молчала, только зубы стиснула. Она схватила кожух, набросила на себя и побежала к своей матери.

— Мама, дайте пообедать, — сказала она Довбышихе.

— А почему ты не пообедала дома? — спросила ее мать.

— Моя свекровь — лютая змея: ползает по хате, из ноздрей дым клубится, и дышит огнем на меня. Когда говорит, будто на цимбалах играет, а где станет, там вода замерзает; а как посмотрит, так от ее взгляда молоко скисает.

— Скажи-ка, дочь, свекру, чтобы он вас отделил, а то вы когда-нибудь и хату сожжете, — сказала Довбышиха, наливая в миску борща для дочери.

Ругань в хате Кайдаша не прекращалась. Кайдашиха по три дня не разговаривала с Мотрей, хотя та уже не решалась отдельно варить себе обед. Старая Кайдашиха очень любила своего внука, баюкала его, целовала, нежила. Мотря не давала ей ребенка и отгоняла от люльки. Только ночью, когда Мотря спала крепким сном, Кайдашиха вставала к ребенку, если он плакал, забавляла его и кормила молоком.

Кайдаш наконец понял, что и в самом деле нужно отделить детей. Он боялся Карпа. Карпо же, после того как побил отца, забыл об этом и несколько не сожалел о случившемся, будто он поколотил какого-нибудь парня в корчме, а не отца.

У Кайдаша в сарае лежало немало строительного леса. Он прикупил еще немного колод, чтобы пристроить отдельную хату для Карпа. Как только наступила весна, Кайдаш поставил столбы. Мотря на том месте посеяла пшеницу. Пшеница взошла, это было признаком того, что место для хаты будет чистое, хорошее.

Кайдаш с Карпом возвели стены, покрыли крышу, а Мотря обмазала стены толстым слоем глины. Кайдашиха же своими руками не положила и комка глины.

Наступило лето. Хату освятили. Карпо и Мотря перешли жить в собственную хату. Мотря хорошо замазала свою хату и половину сеней, — будто шнурочком отмерила. Она мазала сени и все громко пела:

Коли б мені господь поміг
Свекрухи діждати!
Заставила б стару суку
Халяндри скакати.
Скачи, скачи, стара суко,
Хоч на одній ніжці,
А щоб знала, як годити
Молодій невістці.
А у батька свого горе —
В свекра погуляти!
А у свекра гірше пекла.
Світа не видати.

Мотря назло свекрови пела очень громко. Дверь была открыта. Кайдашиха изо всех сил захлопнула дверь, а Мотря еще громче выкрикивала:

Заставила б стару суку
Халяндри скакати.

Карпо с Лаврином перенесли сундук Мотри в новую хату. Мотря села на сундук и промолвила:

— Теперь я настоящая барыня!

Она гордо восседала на своем сундуке, как царь на престоле.

— Карпо, а как же теперь у нас будет с хозяйством? Мотря только отделится со своими горшками, или же и ты думаешь выделиться со скотиной и полем?

— Лучше, батя, совсем отделиться, со скотиной и полем, — ответил Карпо.

— Гляди, чтобы потом не жалел. До сей поры мы работали сообща, одной скотиной, а ты сам хорошо знаешь, что вместе и каша вкуснее, а гуща детей не разгоняет.

— Батя, да нас гуща уже давно разогнала! Как там будет, так и будет. Отделите меня со скотиной и полем. Буду тогда винить себя, а не вас.

— Так ты и свой ток заложишь? Земли-то у нас и так мало.

— Да уж где-нибудь примощусь, хоть в уголку, — ответил Карпо.

И отец вынужден был выделить сыну хозяйство: дал ему пару волов, телегу, борону и должен был выделить часть поля.

Мотря, перейдя в собственную хату, будто вновь на свет родилась. В дом свекрови она больше и не заходила.

V

Как-то в канун троицы Қайдаш послал Лаврина на мельницу. Лаврин запряг волов. Отец вынес из кладовой два мешка ржи и положил на воз. Мать дала Лаврину котомку с едой.

— Поезжай, сынок, на мельницу да не задерживайся. Теперь на мельнице привоз небольшой: зерна там немного. Қ вечеру смелешь и домой вернешься.

Сын тронулся со двора, выехал за село и поехал вдоль реки Роси. Дорога шла с холма на холм, с холма на холм, над самой Росью. Мельница была почти возле Богуслава. Лаврин свернул на небольшую дорогу в глубоком овраге и выехал к реке.

Молодой парубок сидел на возу и даже не подгонял волов. Загляделся он на реку, на зеленые вербы над водой. Радостное солнце играло маревом над вербами, над водой, над скалами. Волы лениво тащились по дороге. Лаврин глядел на реку и пел песни.

За Росью под высокой скалой блестела на солнце новая, разрисованная, как игрушка, помещичья мельница, с дощатой крышей, с двумя окнами, с белыми столбами, даже с крылечком. Четыре колеса, озаренные лучами яркого солнца, вертелись, весело рассыпая брызги во все стороны. Вода гудела в лотках, собирала ниже колес белую пену и разбрызгивала ее, словно туман, в котором кружились в хороводе маленькие радуги.

Лаврин подъехал к мельнице, сгрузил мешки с зерном, а потом поехал к вербам, распряг волов и, положив им сена, лег спать. Выспавшись хорошо в тени, он выкупался в Роси, пополдничал и пошел на мельницу. А там мельник уже наполнил его мешки мукой.

Вечерело; Лаврин вынес мешки, положил их на воз и стал запрягать волов.

Вдевая занозы¹ в ярмо, он невольно бросил взгляд за Рось. По ту сторону реки, в долине, покрытой зеленой рожью, возле скалы алел какой-то огромный цветок.

«Откуда этот цветок взялся здесь, да еще такой огромный?» — подумал Лаврин.

Вдруг видит он — алый цветок будто плывет по меже среди зеленых колосьев. Потом между колосьев из-под цветка вынырнула голова с черными косами и будто поплыла над нивой. Лаврин заметил, что эту черноволосую голову дважды обвивали ярко-желтые ленты, а под ними были заложены целые пучки красного мака. Молодая девушка с сапкой в руке, казалось, выплыла из ржи. Лаврин загляделся на нее и перестал запрягать второго вола. Девушка, подойдя к реке, стала на плоском камне и принялась мыть ноги. Лаврин невольно загляделся на ее черные брови.

Девушка перешла плотину, взошла на мостик над лотками, оперлась на поручни и засмотрелась не так на воду, как на свою красоту. Она увидела в воде свое лицо с черными бровями, свежее, как ягодка. Девушка любовалась собой и красным монистом, висевшим на ее шее.

Лаврин стоял под вербой неподалеку от девушки и глядел на нее. Солнце играло на ее красном монисте, на румяных щеках. Девушка была небольшого роста, тонкая, как струна, гибкая, как береза, румяная, как красная калина, с пухленькими щечками и ровным носиком. Ее щеки алели, точно краснобокие яблоки, губы были красные, как рябина. На белом лбу выделялись, словно нарисованные, густые-прегустые, как шелк, веселые тонкие черные брови.

Лаврин видел, как девушка опустила свои длинные черные ресницы; как потом она повернулась боком, чтобы посмотреть на воду, на скалы; как блестел ее чистый ровный лоб.

«Ой, красивая же дивчина, как рай, как красная мальва, повитая барвинком!» — подумал Лаврин, запрягая второго вола.

Девушка сломала веточку вербы и бросила ее далеко в воду. Веточка плыла по реке медленно,

¹ З а н о з а — здесь: палка, продеваемая в концы ярма.

з потом будто побежала по лотку и попала под колесо. Девушка засмеялась, сверкнув против солнца своими белыми зубами, словно двумя нитями жемчуга. Она бросила взгляд на Лаврина, загляделась на него и смутилась. Затем поднялась с места, порхнула кукушкой мимо Лаврина, сверкнув на него карими глазами, и вышла на дорогу.

Лаврин почувствовал, что она, как солнце, озарила его душу, осветила густую тень под вербой и звездочкой побежала на гору.

«Где ты, красавица, родилась с такими шелковыми бровями! — подумал Лаврин. — Если ты даже кукушкой будешь в лесу, то я тебя и там найду».

Лаврин взмахнул кнутом над волами и, вместо того чтобы ехать домой через плотину, повернул вправо на пригорок и поехал следом за девушкой.

Дорога от мельницы расходилась по трем направлениям. Вокруг было очень много сел, а Лаврину во что бы то ни стало хотелось знать, из какого именно села эта девушка. Она пошла по средней дороге. Лаврин повернул за ней. Он погонял волов, а сам не мог оторвать глаз от тонкой талии, затянутой в корсетку, от тонкой загорелой шеи. По обе стороны дороги, точно две зеленые стены, росла высокая рожь. Девушка шла вдоль этих зеленых стен, выдергивала из ржи синие васильки и закладывала их за уши. Лаврин нагнал ее и поравнялся с ней.

Она посмотрела на него своими темно-карими глазами, и ему показалось, что во ржи заблестели две звездочки.

— Добрый вечер, дивчина! Далеко ли отсюда до села? — спросил Лаврин.

— А какое село тебе нужно? — спросила девушка, и ее голос зазвучал так, будто во ржи заворковала горлица.

— До того села, откуда ты сама, — ответил Лаврин.

— Не спрашивай, а то скоро состаришься, — промолвила девушка и улыбнулась.

Она посмотрела на Лаврина.

Лаврин сидел на возу, опустив ноги на дышло, и помахивал кнутом.

«Какой красивый парубок, хотя и белокурый, какие у него чудесные глаза!» — подумала девушка, искоса поглядывая на Лаврина.

Девушка пошла вперед. Лаврин погнал волов следом за ней. Ему хотелось, чтоб она шла как можно медленнее, как можно дольше, чтобы насмотреться на нее.

— Чего это ты так спешишь? — спросил Лаврин.

— Чтобы мать не бранила, — ответила девушка.

— А где ты была?

— Барскую свеклу полола за Росью, а сейчас иду домой, — сказала девушка и уже смелее посмотрела на Лаврина. Она пошла медленнее, перебрасываясь словами с парубком.

— Скажи-ка мне, дивчина, из какого ты села, из Биевиц или Дешок?

— Из Биевиц, — ответила девушка, — а зачем тебе?

— А разве нельзя спросить? Как тебя зовут?

— Мелашка. Гляди, какой ты любопытный!

— А как твоего отца зовут?

— Охрим Балаш. Может, хочешь знать, как и мать зовут? — спросила девушка и засмеялась. — А ты сам биевский?

— Нет, я из Семигор. Зовут меня Лаврин Қайдаш.

— А почему ты с мукой едешь не в Семигоры, а в Биевцы?

— Да это меня отец послал... — сказал Лаврин и не досказал.

Узенькая дорога через высокую рожь вела в гору, к самому лесу. На горе был виден перелесок. Дорога пряталась в нем и тут же опять спускалась очень круто в небольшой глубокий яр, поросший густым лесом. Лаврин не подгонял волов: он забыл и о волах и о мешках, а только глядел на Мелашку.

В низине под деревьями уже стояла густая тень. Дорога была настолько узкой, что зеленые кроны деревьев сливались вверху и закрывали небо. Старые дубы и грабы стояли не шелохнувшись, а на противоположном холме верхушки деревьев были еще залиты лучами багряного вечернего солнца.

Мелашка шла по тропинке, петляя среди высокой смолки и колокольчиков. Ее черноволосая голова с

маковым венком казалась цветком среди травы, синих колокольчиков и красной смолки.

Лаврин не сводил с девушки глаз. Ее красота так ослепила и поразила его сердце, что она казалась ему не девушкой, а русалкой.

Мелашка запела песню. Она зазвучала в лесу и отозвалась в долине серебряным эхом.

«В Семигорах нет ни одной такой красивой дивчины», — подумал Лаврин. Он соскочил с воза, бросил волов и пошел по тропинке рядом с Мелашкой. Девушка как молния сверкнула на него своими глазами, зарделась и опустила голову.

Густая тень под зелеными ветвями, казалось, излучала какие-то чары. Мелашка показалась теперь Лаврину еще краше. Перед красотой девушки побледнел даже красный мак в ее венке.

— Мелашка, скажи, где ты живешь? Покажи мне хату твоего отца.

У Мелашки сердце забилось так, как птица трепещет крыльями в густых ветвях.

— Наша хата стоит на краю села в овраге, в Западинцах, — ответила тихо-тихо и опустила ресницы.

Волы медленно плелись по дороге. Лаврин и Мелашка шли молча.

В лесу было тихо, как ночью в хате. Казалось, лес уже дремал, засыпал и только сквозь сон смотрел освещенными вершинами на небо, на заходящее над Богуславом солнце. На высоком дубе, под которым они остановились, захлопала крыльями какая-то птица. Она испугала их так, что они даже вздрогнули.

— Мелашка! — тихим голосом промолвил Лаврин. — Увидел я тебя у реки и словно прохладной воды из родника напился.

Мелашка смутилась и потупила глаза. Она молчала. Птица на дереве успокоилась, и опять в лесу стало тихо, как в хате ночью.

— Твоя красота, твои черные брови мне будто силы прибавили. Как взгляну на тебя, силу небывалую чувствую в груди, — начал Лаврин.

Какая-то молодлица, спускаясь по дорожке с горы, шла им навстречу. Лаврин замолчал.

Лес кончался на горе. За лесом начиналось село, разбросанное по холмам и глубоким оврагам. Лаврин



сел на повозку. Мелашка отошла в сторону и пошла вдоль тына. Миновали они церковь, опять спустились по взвозу с крутой горы и завернули в узкий, как рукав, овраг. Лаврин поехал за Мелашкой. Овраг змейкой извивался во все стороны. Некоторые хаты лепились у подножья гор.

— Вот и наши Западинцы, а там вон белеет и моя хата! — сказала Мелашка, показывая на одну маленькую хатку подле самой крутой горы, в конце узенькой тесной долины.

Хата была третья с конца и стояла у края вишневого садика. Она была небольшая, старая, даже накренилась набок. Возле хаты лепились хлев и сарай. По всему было видно, что Балаш — бедный человек.

— Мелашка, я приду к вам на гулянье. Прийти или не надо? — спросил Лаврин.

— Приходи, — ответила Мелашка, — а теперь спеши домой, а то тебя отец заругает.

— А может, завтра вечером ты выйдешь к мельнице, к той вербе, где я с волами стоял? Ведь завтра воскресенье. Я отпрошусь у отца или приду, не спрошусь его.

Мелашка шла сторонкой и молчала. Она задумалась.

— Придешь ли, Мелашка? А я приду, если бы даже отец меня на привязи держал.

— Приду, — наконец тихо ответила она.

Лаврин остановил волов и глазами следил за Мелашкой до тех пор, пока она не вошла в свою хату. Тогда он повернул волов и поехал домой. Из Биевиц в Семигоры была дорога короче, но Лаврин поехал по той дороге, по которой шла Мелашка. Ему казалось, что девушка, идя домой, усыпала свой след цветами и звездами.

Лаврин приехал домой лишь в полночь. Отец сердито набросился на него.

— Почему ты так долго задержался, словно в Крым ездил с мешками?

— Да на мельнице было столько людей, что не протолкнешься, пришлось ждать своей очереди до самого вечера, — отбрехивался Лаврин.

— А я уже думал, не поломал ли ты случайно ось в телеге, — сердито говорил отец.

Мелашка вошла в свою бедную хату и словно окаменела. Пока она шла рядом с Лаврином, ей казалось, что южное солнце радостно светило, а когда вошла в хату, оно исчезло с неба и сразу наступила темная ночь. Мать поручила ей работу; работа валилась у нее из рук. Она вышла в сад, стала под виш-

нями, склонив голову, и ей все казалось, что она идет рядом с Лаврином по зеленой роще и никак не пересечет ее... Вот она будто спускается с горы, входит в темную долину, а оттуда снова поднимается в гору и опять мимо дубов сходит в овраг, шагая рядом с Лаврином, и он смотрит на нее своими ясными веселыми глазами, без умолку говорит, словно соловей поет... Душа тихой и покорной девушки тоже захотела петь.

— Девка, ты обалдела нынче, или тебя околдовали? — крикнула мать.

У Мелашки была поэтическая душа и доброе сердце. Иногда она во время разговора невольно вставляла слова из песен.

И зеленая роща, и Лаврин, и его глаза — все миг исчезло. Мелашка, тяжело вздохнув, пошла в хату заниматься делами.

На следующий день, в воскресенье, Лаврин едва дождался вечера. Никогда еще день не казался ему таким длинным, как теперь. Как только солнце начало клониться к западу, Лаврин набросил на плечи свитку, взял в руки свирель и пошел к мельнице. Ему казалось, что туда его несут крылья. Всю дорогу то свирель его играла, то песня будто сама лилась.

Лаврин пришел к Роси. Перед ним за высоким утесом раскинулась долина с вербами: плотина, Рось, мельница над рекой. Вечернее солнце, как и вчера, яркими лучами заливало всю долину. Вода под колесами шумела... Лаврин посмотрел на мостик на лотках. Мелашки там не было; посмотрел на вербу, под которой стоял с возом, и там ее не оказалось.

Вдоль Роси, у самого берега длинными рядами росли вербы и лоза. На одной скале под вербой сидела Мелашка. Лаврин заметил ее голову с венком из цветов. И его свирель залилась как перепелка. Мелашка увидела Лаврина на плотине, поднялась со скалы и стала над рекой, склонив голову.

Лаврин, перейдя плотину, с трудом пробрался к Мелашке через густые вербы и лозу, переплетенные белыми вьюнками и ежевикой.

— Добрый вечер, Мелашка! — тихо промолвил Лаврин, взяв девушку за руку.

— Здравствуй! — еще тише ответила Мелашка, и ее глаза, как родник водой, наполнились слезами. —

А я думала, что ты уже не придешь. Почему так задержался? Мать тебя не пускала, или отец сердился?

— Сядем, Мелашка, и поговорим.

Они уселись на длинном, как стол, камне. Из-за Роси ярко светило солнце и своими лучами пронизывало зеленые вербы, заросли длинной осоки в реке, у самых скал, высокий камыш с кудрявыми кистями, закрывавший от них мельницу.

— Отчего ты, Мелашка, такая грустная? Брови у тебя черные, а лицо бледное: куда девался румянец с твоего лица?

— Я прошлую ночь, кажется, спала и не спала. Будто вместе с тобой гуляла в зеленой роще да рвала цветы; все будто смотрела на тебя — не насмотрелась, говорила с тобой — не наговорила.

Лаврин расспрашивал Мелашку об ее отце, матери, сестрах и братьях. Она рассказала ему, что отец бедный, что мать очень любит и жалеет ее, что у нее есть много маленьких сестер и братьев. Лаврин обнял ее тонкий стан, и она склонила на его плечо свою голову, украшенную маками, настурциями и мятой. Свежие цветы мака и пахучей мяты, прикинувшись к лицу Лаврина, охлаждали его горячую щеку, как холодная роса.

Мелашка расспрашивала Лаврина об отце, о селе и семигорских девушках. Спокойно текла вода в Роси, и лишь мельничные лотки, казалось, гудели где-то далеко в лесу да на быстрине между скал тихо шелестели осока и лилии, точно деревья при слабом ветре. Солнце садилось за Росью, за Богуславским лесом. Рожь будто дремала. А в молодых душах разгоралась любовь, как разгорается солнце летним утром.

Солнце уже совсем зашло, и сумерки окутывали землю, Мелашка поднялась.

— Ты уже домой собралась? — спросил Лаврин.

— Боюсь запоздать. Мне домой идти через рощу.

— Так я провожу тебя, — сказал Лаврин.

И они вместе поднялись с камня и по тропинке между полями ржи пошли на гору.

Лаврин проводил Мелашку до села. Уже были видны хаты. Надо было прощаться.

— Дивчина моя, ты краше солнца, и не в силах я оторваться от тебя! Где собираются в вашем селе на

гулянье? Иди домой, а потом выходи на улицу. Я буду ждать тебя.

— Мы гуляем неподалеку от церкви у колодца, под вербами. Но как же ты вернешься ночью домой? Что твой отец скажет?

— Об этом не спрашивай! Что бог даст, то и будет.

Мелашка направилась домой, а Лаврин пошел к колодцу, где обычно собирались на гулянки парни и девушки.

Смеркалось. Неподалеку от колодца, под вербами появились девушки и парни. Лаврин тоже стоял под вербой возле тына. Парни, увидев Лаврина и поздоровавшись с ним, сразу заметили, что он незнаком им.

— Кто ты? — спросил Лаврина один парень. — Ты, кажется, не из нашего села? Так почему же ты, вражий сын, не спросив разрешения у нас, ходишь к нашим дивчатам, на нашу улицу?

Парни обступили Лаврина.

— Я не биевский. А в Биевцы пришел недавно, ищу себе работу, — отозвался Лаврин.

— Ого-го, хорош работник! Работы не нашел, а дорогу на улицу сразу нашел! — крикнул какой-то парень.

— Если хочешь с нами гулять и к нашим дивчатам ходить, то ставь нам магарыч, а то мы киями укажем тебе дорогу с нашей улицы.

Лаврин знал обычай парней и поэтому повел всю ватагу в корчму. Он поставил магарыч парням и уже с их согласия вернулся на гулянье.

Мелашка вскоре тоже прибежала туда. Лаврин увидел ее и тотчас отделился с ней от парней и девушек. Они стали в стороне, под вербой у тына, из-за которого выглядывали большие головки цветущего подсолнечника. Лаврин набросил на плечи Мелашки свою свитку и обнял ее.

Звезды усеяли небо. Село уснуло. Девушки пели и шутили с парнями. А Мелашка, как горлица, льнула к Лаврину. Уже все парни и девушки разошлись... На небе взошла заря, а Лаврин все стоял с Мелашкой и не в силах был оторваться от нее.

— Когда ты теперь придешь ко мне? — спросила Мелашка.

— Я готов к тебе каждый вечер ходить. До свидания, чернобровая! До свидания, мое ясное солнышко! Должно быть, ты, моя любимая, из роз и барвинка сплетена, что задержала меня до самого рассвета, — ответил Лаврин.

— Как только услышу твой голос возле двора, я тотчас прилечу к тебе, — промолвила Мелашка.

— А если я женюсь на тебе, не затоскуешь в Семигорах? — спросил Лаврин.

— Отчего же тосковать, если я буду с тобой? Ведь нынче лягу спать, и мне все кажется, что тень твоя у моего изголовья стоит. Я готова прикрыть след твой зелеными листьями, чтобы ветер его не завейл, песком не занес, — произнесла Мелашка. — А может, как выйдешь ты вон за ту дубравушку, то навеки забудешь свою зазнобушку?

— Не бойся, Мелашка, я тебя не забуду! После завтра выходи на улицу. Я приду, даже смерть не остановит меня. До свидания, моя любимая. Ты — краше золота, краше солнца, — сказал Лаврин и поцеловал Мелашку, будто обжег ее душу своими горячими устами.

Лаврин вернулся домой только под утро и лег спать в сарае. Все встали, а Лаврин еще спал. Солнце поднялось уже высоко. Наконец отец нашел Лаврина в сарае, но не мог разбудить его.

— Лаврин где-то шатался всю ночь, — сказал Кайдаш жене. — Работает, как пьяный, спит на ходу.

— На улице гулял, — промолвила Кайдашиха.

Прошел день, прошла ночь, а на следующую, когда стало темно и на небе заблестели звезды, Лаврин снова махнул в Биевцы. Мелашка снова вышла к нему, и снова он вернулся домой на рассвете, опять не выспался и так выбился из сил, что пошел после обеда в клуню, лег в засторонке¹ на соломе и спал без просыпа до вечера.

— Пропал парень! — горевал Кайдаш. — Да где ты бродишь, где шатаешься всю ночь? — допытывался он у Лаврина.

— Там, где и вы бродили, когда молоды были, — ответил сын.

¹ З а с т о р о н к а — боковая часть овина.

Лаврин ходил в Биевцы к Мелашке через день и совсем отбился от рук. Без Мелашки и свет ему стал не мил. Мать ему не мила, отец не мил, село плохим стало. Как только наступал вечер, как только звезды появлялись на небе, его тянуло в Биевцы. Он глаз не мог оторвать от гор и леса за Росью, где находились Биевцы.

— Наступает жатва, а от нашего Лаврина работы не жди, — говорил Кайдаш жене. — Ходит по саду, словно зельем опоенный.

— Да, по мне, пускай женится. Надо ведь когда-нибудь его женить. Но где ты сыщешь в нашем селе хорошую невестку, коль уж есть одна сатана в хате. В наших Семигорах все девки теперь как ведьмы.

— Так женим его на стороне: разве больше нет сел на свете, — промолвил отец.

Мать пошла в сад, где под яблоней лежал Лаврин.

— Почему, сынок, ты так загрустил? Болит у тебя что, аль что-то задумал?

Лаврин молчал, лишь рукой махнул, а сам смотрел в зеленую чащу яблонь и черешен.

— Я только что говорила о тебе с отцом. Он хочет женить тебя. Пошли, сынок, сватов к Катре Головкивне. Катря дивчина тихая и хорошая, будто калина в цвету.

— Правда, что в цвету, как макуха под лавкой. Нет мне пары в Семигорах.

— А к кому же ты ходишь на улицу?

— Я, мама, на улицу хожу в Биевцы.

— В Биевцы! — крикнула мать и всплеснула ладонями.

— В Биевцы, мама! Там заметил я дивчину! Брови черные, очи карие — любо посмотреть; личико будто калина, а как посмотрит, засмеется, душа радуется.

— Мне все равно, посылай сватов в Биевцы... Чья же она дочь?

— Балаша. Зовут ее Мелашкой.

— Знаешь ли ты, что за люди эти Балаши? Знаешь ли ты характер Мелашки? Остерегайся, сынок, а то возьмешь такую, какую взял Карпо.

— Если я на ней не женюсь, то в Роси утоплюсь, — промолвил Лаврин и отвернулся от матери.

— Работящая ли она? Есть ли у ее отца что-нибудь за душой?

— А почему бы и нет? Балаш, кажется, человек с достатком, но я в его сундуке не рылся.

— Мне все равно, посылай сватов и к Балашивне. Мы с отцом поедем на смотрины да поглядим на твою милую и на ее отца-мать.

Лаврин так и сделал, как ему советовала мать: принарядился, взял двух сватов и пошел в Биевцы.

Балаш не ждал так рано сватов к своей дочери. Мелашка была очень молода. Наступала жатва. Мелашка нужна была в хозяйстве, как работница. Балаш не говорил сватам ни да, ни нет! Мелашка стояла возле печи и горько плакала. Отец понял, почему Мелашка так поздно возвращалась с улицы, и дал согласие на обручение. Мелашка вытерла рукавом слезы и подала рушники сватам.

В воскресенье Кайдаш и Кайдашиха собирались ехать в Биевцы к Балашу на смотрины. Лаврин, веселый и счастливый, запрягал волов.

— Сынок, а хороша ли хата у твоей Мелашки? — спрашивала мать у Лаврина.

— Ого-го! Еще и как хороша! Кажется, во всем селе нет лучшей, — говорил Лаврин.

— Зажиточные ли хозяева Балаши? Есть ли у них скотина? — спрашивала мать.

— Да там такие работящие люди, каких у нас в Семигорах не сыскать, — расхваливал Лаврин, ибо ему и в самом деле Балаши казались лучше всех людей на свете.

— В Биевцах меня знают: я готовила обед у батюшки, когда он свою дочь выдавал замуж. Я там, во дворе у него, угощала всю общину. О! Там, мое золотишко, много зажиточных хозяев. У нас в Семигорах и вправду нет таких, — говорила мать.

Кайдашиха надела тонкую сорочку, голову покрыла тонким красивым платком с бахромой до самых плеч, нацепила на шею все кресты и дукачи, надела новую юбку, новенькую белую свитку и обула желтые сапожки.

«Нужно принарядиться получше: меня ведь все знают в Биевцах», — подумала Кайдашиха и велела

Лаврину положить на повозку сена да еще покрыть его ковром.

Кайдашиха расселась на возу, а Кайдаш, погоняя волов, примостился впереди. Лаврин шел следом за возом. Кайдашиха, горделиво подняв голову, проехала мимо корчмы, возле которой стояла группа мужиков, и даже «здравствуйте» им не сказала.

— Ого-го, наша пани экономша забралась чуть ли не на небо! — заговорили мужики. — По всему видно, что на смотрины едет.

Кайдашиха умышленно выставляла напоказ свои новые сафьяновые сапожки. В ярких лучах полуденного солнца они так и сверкали на всю улицу.

— Ей-богу, нарочно подняла свитку выше колен, чтобы показать желтые сафьяновые сапожки, — смеялись мужики. — Кайдаш нарядил свою жену, словно для продажи на ярмарке.

Кайдаши переправились через плотину, взобрались на гору и въехали в Биевцы. Кайдашиха белым платочком вытерла сафьяновые сапожки и важно глядела по сторонам: смотрите, мол, добрые люди, какая госпожа едет к вам в гости.

Среди садов белели хаты. Около церкви стояла огромная хата с новыми окнами.

— Не тут ли живет Балаш? — спросила Кайдашиха сына.

— Нет, мама! Это хата дьячка. Балаш живет немного дальше, — ответил Лаврин, показывая на улицу, на которую надо было сворачивать.



Повернули за церковь. Впереди, утопая в зелени большого сада, белела хата с разрисованными дверными косяками и дверью.

— Наверное, эта хата Балаша? — снова спросила Кайдашиха.

— Нет, мама, Балаш живет вон там в балке, в Западинцах.

Они уже проехали село. Дорога с крутой горы спускалась в глубокий овраг. В овраге, словно белые овцы, кое-где белели убогие хаты.

— Вот это, мама, и есть Западинцы, — сказал Лаврин, и глаза его радостно заблестели.

Кайдашиха нахмурилась. В Западинцах не было видно ни одной богатой, хорошей хаты.

— Куда это ты везешь нас? Кажется, мы уже и село проехали? — спросила мать.

— Слезайте, мама, с воза, а то здесь гора крутая, — сказал сын.

Однако Кайдашиха не успела слезть с повозки. Волы побежали с крутого, как печь, бугра. Кайдаш соскочил на землю, побежал за волами, бил кнутовищем по мордам, останавливая их, но тяжелые волы не могли сдержат повозку. Она напирала на них сзади, и волы во всю прыть неслись вниз. Кайдашиха схватилась за грядку, и ее трясло, как в лихорадке. Повозка наскочила колесами на бугорок и перевернулась. Кайдашиха выкатилась с нее, как мяч. Сено покрыло ее сверху. Волы потащили повозку по взгорью.

— Тпру, серый! Тпру, муругий, чтоб ты взбесился! — кричал Кайдаш и сам летел с горы что есть мочи, не хуже, чем волы, которые скакали, как лошади, задрав головы и вертя рогами.

— Вот так завез меня в Западинцы, чтоб они сгорели! — кричала Кайдашиха на весь овраг. — Чуть шею не свернула.

Кайдашиха отряхивала с себя сено и пыль. Сено пристало к красной бахrome на голове, набилось за ворот, в пазуху, запуталось в крестах и дукачах. Пыль набилась в нос, в уши и даже в рот. Она сняла с себя пояс, вытряхивала из-за пазухи сено и фыркала, как кошка, понюхавшая перца. О поручни повозки поцарапался желтый сафьяновый сапог, на котором остался след через все голенище.

— Лучше бы эти Западинцы провалились сквозь землю раньше, чем пришлось ехать сюда! — бранилась Кайдашиха, вытаскивая сено из-за пазухи, выдергивая его из головы. — Вот уж и разукрасилась сеном, как овца репейником: проклятое сено колет спину, хоть юбку снимай.

— Да тут хоть юбку сними да по оврагу бегай! Никто и не увидит. Потому что здесь никто не живет, — произнес Кайдаш.

Лаврин сложил сено на повозку и застелил его ковром. Кайдашиха, приведя себя в порядок, уселась на повозке, продолжая ругать Западинцы.

Поезд двинулся дальше. Овраг извивался в разные стороны. Все меньше и меньше становилось хат. Они были все беднее и беднее.

— Да и вьются проклятые Западинцы так, что у меня даже в голове кружится! — бормотала на возу Кайдашиха. — Где же хата твоей Мелашки? — спрашивала она Лаврина.

— Вон, третья с краю, — ответил он.

Горы высокие, лысые совсем, отвесные, словно стены, возвышались по обе стороны оврага. Вверху виднелась небольшая полоска синего неба. А в самом конце оврага белели три бедных хатки.

— Ох, и завез ты меня в какой-то улей. Это не Западинцы, а чертов мешок. Сюда только чертям собираться на кулачный бой, а не добрым людям ездить. Так это и есть твои огромные хаты? Да тут, наверное, одна голь живет, а не хозяева.

Повозка подъехала к воротам. Хата у Балаша была маленькая и ветхая, она расползлась, выпучила выходящую во двор стену и, казалось, присела отдохнуть, как старая баба. С фронтона она была подперта двумя столбами, обмазанными белой глиной. Маленькие оконца едва блестели.

Кайдашиха сидела на повозке и не хотела слезать с нее. Она окончательно расстроилась. Лаврин открыл старенькие ворота. Они в его руках затрещали, точно кости сухих ребер.

Кайдаш погнал волов в ворота. Откуда-то из-за угла выскочила худая собака, кудлатая, как овца, и залаяла на гостей. Из хаты выбежало пятеро маленьких

ребят, а следом за ними вышла Балашиха в грубой сорочке, в убогом старом платочке на голове.

Кайдаш и Лаврин поздоровались с Балашихой. Из-за спины Балашихи, точно цветок, выглянула Мелашка, сверкнула черными глазами, вспыхнула румяным лицом и опять спряталась в хату. У Лаврина сердце замерло.

— Почтительнейше просим в хату! — промолвила Балашиха и поклонилась Кайдашихе.

Кайдашиха злилась на Западинцы, даже сопела. Она спустила с повозки свои ноги в желтых сапогах, показав их Балашихе до самых колен.

Из сеней вышел Балаш, еще молодой мужчина, поздоровался с гостями, поклонился сватьям и пригласил их в хату.

Кайдашиха, входя в сени, наклонила голову — ей казалось, что она влезает в какой-то сундук. Дверь в комнату была еще ниже. Кайдашиха нагнулась и только хотела было гордо поднять голову, как изо всей силы хлопнулась теменем о дверной косяк!

Кайдашиха почувствовала, что на голове у нее вскочила шишка. Она схватилась за голову, ощутив страшную боль, словно ей в темя сунули раскаленное железо. На глаза Кайдашихи навернулись слезы, у нее заныло сердце, но она вынуждена была терпеть и молчать.

«Ох, закричу, — подумала Кайдашиха, — ох, не выдержу, захоаю! Вот так стыд! Ох, и выругаю же я и Лаврина, да и этих поганых Балашей!» — думала она, но должна была стиснуть зубы, чтобы удержать свой язык.

Маленькие дети захохотали. Кайдашиха молча продолжала проклинать отца, и мать, и Биевцы, и хату Балаша. Она пощупала голову — высокий очипок вогнулся, измялся. Кайдашиха стала похожей на безрогую корову.

Балашиха пригласила сватью к столу. Кайдашиха окинула взглядом убогую, бедную хату и не церемонилась; она прямо полезла за стол и села в красном углу, важничая и вытирая платочком губы.

Хата была очень низенькой. Маленькие окошки были тусклые, непрозрачные. Сквозь потемневшие стекла, покрытые зелеными и черными пятнами, даже

неба не было видно. Старая каменная лежанка будто присела и расползлась. Камни торчали из нее, как худые ребра отошальной клячи. На полу в углу стоял небольшой старый сундук. Потолок прогнулся, а посреди хаты стоял тонкий побеленный столб, подпиравший матицу.

Кайдашиха гордым взглядом окинула хату и повернула голову к иконам. Ее красный, высоко повязанный платок на голове придавил колено святой Варваре на огромной иконе. Она немного отодвинулась от иконы и уселась напротив окна.

Малые дети стали посреди хаты и вытаращили на Кайдашиху свои глазенки. Около детей терлась остриженная от головы до самого хвоста кошка. Кайдашиха посмотрела на детей, на чернобровую Мелашку и немного смягчилась: она любила детей.

— Почему ты, Лаврин, не сказал мне, что у моих сватов есть маленькие дети? Эх, какой ты! Я бы вам, детки, привезла гостинцев. У меня ведь есть и орешки, и мед, и мак; спекла бы маковников. Ох ты, боже мой! — причитала Кайдашиха.

Дети раскрыли рты. Орешки и маковники щекотали их роты. Они глядели на богатую тетку и все ждали, что из-под ее полы вот-вот посыплется орешки, а из-за пазухи выскочат маковники.

— Вот, боже мой! Ничегошеньки не взяла для детей. Натя же вам хоть по грошу.

Кайдашиха вытащила из-за пазухи платочек, развязала узелок и раздала детям по грошу. Дети глядели на гроши и не знали, что с ними делать.

— Мама, можно есть дзеню? — спросила маленькая девочка, полизав языком свой грош.

— Не бери, золотко, в рот! Бяка! Фу! — сказала Кайдашиха.

— Дзеня бяка! Если бы маковников! — сказал хлопчик.

— Мама, маковников хочу! — захныкала девочка.

— Какие у тетки желтые ноги, прямо как у нашей пестрой курицы, — сказал громко, будто про себя, старший мальчик.

— Кто тебя учил так говорить! Вот я тебе задам! Идите-ка гулять во двор, — сказала Балашиха и выводила детей из хаты.

Балаш с Кайдашом сели в конце стола и завели разговор о ржи и пшенице, о сене и ярине. Балашиха послала самого старшего мальчика за водкой.

— Вот, боже мой, дорогие гости, не знаю, чем вас и потчевать! Сейчас петровка, такое тяжелое время,— плакалась Балашиха.

— Так я же, мама, принесла из лесу кувшин земляники, — поспешила Мелашка. — На полдник сварим вареников с земляникой и клубникой.

— А, право, ты, дочка, верно советуешь, — сказала Балашиха. — Побеги-ка набери свежих огурчиков и начинай варить вареники, а мы со сватьей немного потолкуем.

Мелашка заметалась по хате, сняла с колышка корыто, вынесла его в сени и пошла в чулан за мукой.

Кайдашиха не сводила с нее глаз. Мелашка была молоденькая, небольшого роста, но проворная и живая.

«Да, небольшая помощь мне будет от такой невестки. Ей бы еще на лежанке кашу есть», — подумала Кайдашиха.

Мальчик принес кварту водки. Балашиха нарезала хлеба, и Балаш начал угощать гостей водкой. Кайдаш выпил чарку до дна, а Кайдашиха только пригубила и утерлась платочком. Она взяла ломтик хлеба, чтобы закусить. Но хлеб был черный, как земля, недопеченный и невкусный. Кайдашиха через силу проглотила кусочек. Хлеб застревал у нее в горле.

«Или они люди бедные, или Балашиха совсем не умеет хозяйничать? Долго мне придется учить эту Мелашку, — подумала Кайдашиха и тяжело вздохнула. — Лишь бы не была такой сатаной, как Мотря. И у Мотри брови неплохие, да за теми бровями не оберешься беды».

— Плохая у вас в Биевке водка, как сыворотка с перцем, — сказал Кайдаш, вспоминая чудесную запеканку с красным перцем, которую он пил на смотринах у Довбыша.

— Плохая, потому что шинкарь разводит ее водой, — промолвил Балаш. — Чтобы ему смерть была такой, как эта водка.

— Да она только пахнет водкой, — сказал Кайдаш.

Хозяин угостил Кайдашиху. Кайдашиха говорила много, но пила мало.

«Ну и гордая же у меня сватья! Только полощет губы в чарке», — подумала Балашиха.

Покуда старики разговаривали и пили, Мелашка затопила печь и налепила вареников. Кайдашиха не сводила с нее глаз и все искоса поглядывала на сито, где лежали темные, будто ржаные, вареники.

Вскоре и вареники сварились. Балашиха отцедила их на решете и подала на стол.

— На сей раз прошу прощенья, милостивые, меду к вареникам нет, — промолвила хозяйка.

— Да обойдемся, золотко мое, и без меду. Ржаные это или пшеничные вареники? — спросила Кайдашиха.

— Да это у нас такая пшеница уродилась, — ответила хозяйка, — не пшеница, а какая-то мешанина с рожью.

Кайдашиха полизала вареники, выбрала из них клубнику, а тесто бросила обратно в тарелку.

Полдничая, сватья договорились о том, чтобы в первое воскресенье, сразу же после покрова, сыграть свадьбу. Лаврин пошел с Мелашкой в сад и не мог наговориться с ней.

— Если бы отец не отдал меня за тебя, я бы руки на себя наложила, — говорила Мелашка Лаврину.

— Не будешь ли ты, Мелашка, скучать по Биевке? — спросил Лаврин.

— Там я буду весела, где будешь ты, душа моя, — ответила Мелашка.

Балашиха вышла и пригласила Лаврина и Мелашку полдничать. Балаш, угостив их, налил чарку Кайдашихе. Кайдашиха взяла чарку в руки и, хотя была сердитая, все же не сдержалась и распустила своим языком мед на всю хату.

— Будь же, дочь, здоровая, как рыба; пригожая, как роза; веселая, как весна; трудолюбивая, как пчела; богатая, как святая земля! Дай боже, чтобы работа у тебя быстро спорилась; чтобы твоя голова, как колодец водой, была мыслями полна, чтобы жизнь твоя была тихая и богатая, как нива колосом. Дай вам боже и с росы и с воды; пускай ваша жизнь будет в сладком меду, в душистом цвету.

Кайдашиха выпила чарку, хотя и поморщилась, как среда на пятницу. Красота Мелашки наконец развязала ей язык и вытащила из него меда полный улей.

К вечеру Кайдаши распрощались с новыми сватами и поехали домой.

— Гордые у нас сваты, что и говорить, — промолвила Балашиха. — Уж и не знаю, дочка, хорошо ли тебе будет у этой щеголеватой свекрови, — обратилась она к Мелашке.

Медленным шагом потащились волы Кайдаша вдоль Западинцев. Кайдашиха сидела высоко на повозке и уже спрятала свои желтые сафьяновые сапожки, прикрыв их свиткой. Лаврин шел в стороне от воза.

— Ох, погоняй волов поскорее! — крикнула Кайдашиха на мужа. — Хоть бы засветло выбраться из этой проклятой норы. Буду долго помнить, как ездила в эти Западинцы. Не заманите меня сюда и калачом. Сделали дверь, нечего сказать! Чуть себе голову не свернула, а на чепце настоящие Западинцы сделала себе.

— Зато, мама, у вас на голове, наверное, выскочили настоящие Семигоры. Большая ли у вас, мама, шишка на голове? — насмешливо спросил Лаврин.

— Шишка! Твоя теща настоящая шишка. Хорошего хлеба испечь не может. Натерпелась я беды, пока научила богачку Мотрю, а с этой невесткой хвачу три копы беды, да еще с избытком. Мотря пригнала к нам во двор стриженую овцу, а твоя Мелашка, наверное, пригонит стриженую кошку.

Кайдашиха бранилась и все посматривала по сторонам: не увидит ли случайно знакомых людей. Кайдашихе казалось, что навстречу ей выйдет все биевское общество во главе с председателем.

— Погоняй живей; может, еще забегу на часок к попадье да хоть попопдничаяу как следует и вдоволь напьюсь наливки. Я у здешней попадьи как у себя дома.

Волы выехали на гору. Возле дома попа Кайдашиха слезла и пошла во двор.

— Вы там, мама, не задерживайтесь да не залеживайтесь долго на пуховых подушках, — крикнул вдогонку матери Лаврин.

— Ишь какой, посмотрим, какие пуховые подушки привезет твоя Мелашка и на чем вы будете спать, — ответила Кайдашиха, вытирая платком сапоги.

— Пускай даже на дровах, лишь бы с черными бровями! — ответил Лаврин. — Хоть под лавкой, лишь бы с красивой панянкой.

— Посмотрим, ведь с красоты воду не пить! Черными бровями жажду не утолишь, — промолвила Кайдашиха и пошла во двор.

— И на кой леший ей нужны эти попадьи! Охота же ей дразнить поповских собак! — бормотал себе под нос Кайдаш.

Уже солнце зашло, уже и сумерки наступили, а Кайдашиха все сидела да щебетала у попадьи. Волы стояли, понурив головы. Опершись на тын, Лаврин задумался. Кайдаш, растянувшись на повозке, уснул.

Во дворе залаяли собаки. Кайдашиха вышла из хаты радостная, как из церкви.

— Вот уж кто меня принимал, так принимал! Не то что Балашиха. Господи, не знали, куда и посадить. Потчевала меня матушка и чаем, и водкой, и наливкой, — хвасталась Кайдашиха. Теперь уже она немного примирилась с Западинцами.

Через неделю Лаврин обвенчался с Мелашкой и привез ее в отцовский дом.

VI

Неделю Мелашка прожила в хате свекра как в раю. После бедной отцовской хаты ей казалось, что попала она в господские хоромы. Хата у Кайдаша была просторная, с большими, светлыми окнами, с новыми образами, с широкими вышитыми полотенцами на стенах и на иконах. И зеленый сад, и маленькая пасека в саду под горой, и колодец под грушей, и левада, и зеленая дубрава в горах, и беседы с Лаврином за пасекой — все это, казалось ей, еще больше украсило цветами хату свекра и наполнило ее ароматом. Неделя пролетела, точно один час.

Мелашка, казалось, не замечала того, как пьяный свекор ругался со свекровью, не слышала, как свекровь сразу же засыпала ее неласковыми словами.

Кайдашиха приветствовала старшую невестку вначале сладкими, медовыми словами, а потом уж дала ей отведать полыни. С Мелашкой она повела себя иначе: сразу попотчевала ее полынью. Кайдашиха невзлюбила родителей Мелашки, и как только бралась за темя, сразу же вспоминала Западницы и свои смотрины у Балашей. Мелашка была молодая, еще непривычная к тяжелой работе, а Кайдашихе так хотелось на старости лет полежать и отдохнуть.

С неделю после свадьбы Кайдашиха сдерживалась, искоса поглядывая на Мелашку и показывая ей, как надо работать, а потом стала бранить невестку и глумиться над ней.

Как-то раз Кайдашиха подняла Мелашку чуть свет и велела ей замесить квашню, а сама возилась возле печи. Мелашка погрузила руки в тесто, но никак не могла вымесить его: дежа была большая, а Мелашка была маленького роста и не могла достать руками до дна.

— Лаврин, подставь ка жене под ноги табуретку. Видишь, не достает она руками и до середины дежи.

Лаврин взял маленькую табуретку и подставил ее Мелашке под ноги. Мелашка, покрыв голову белым платочком, стала на табурет и погрузила свои руки в тесто. Казалось, она боролась с большой кадкой, тыкая в нее своими тоненькими маленькими ручками. Лаврин не сводил с нее глаз, любовался тем, как она, стоя на шатком табурете, проворно работала руками. У нее от напряжения на лбу выступил пот.

— Лаврин, вытри-ка жене пот со лба, а то еще в квашню накапает, — снова сердито сказала Кайдашиха.

Лаврин вытер своим рукавом пот с горячего лба Мелашки. Она, как ребенок, глянула на него своими темными глазами и улыбнулась. Упрек свекрови пролетел мимо ушей и не затронул ее души.

— Лаврин! — опять закричала Кайдашиха. — Утри-ка нос своей жене. Гляди, козы из носа выглядывают, — насмеялась уже свекровь, глядя на детские руки Мелашки.

Мелашка сделала вид, что не слышала слов свекрови, хотя чувствовала в них горечь полыни; она как-то жалобно улыбнулась и посмотрела на Лаврина.



Он промолчал и только посмотрел на мать.

В хату вошел Кайдаш. Он очень проголодался за работой и потому стал браниться, что Кайдашиха запоздала с выпечкой хлеба.

— Запоздала! Как тут не запоздать, если набрали в хату невесток из Западинок. Коль с Довбышами не могла успеть, то с Балашами и подавно. Вон, видишь,

возится с тестом с раннего утра, словно ребенок печки¹ копает.

Кайдашиха посмотрела в кадку. Тесто было совсем невымешанное: на нем, как орехи, виднелись пузыри.

— Убирайся прочь от кадки, а то сегодня опять останемся без обеда! — закричала Кайдашиха на невестку.

Мелашка, вытащив из кадки руки и соскочив с табурета, стала посреди хаты. Огромные капли пота блестя на ее лбу. Кайдашиха помыла до локтей руки и яростно набросилась на кадку, как на своего врага. Тесто в кадке даже пищало, чавкало под ее руками. Мелашка понимала, что не угодила свекрови, и, как ошлеванная, стояла посреди хаты и смотрела на свои руки.

— Чего стоишь, будто засватанная? Вон на руках осталось тесто на целую буханку, соскреби ножом в кадку и займись около печи.

Мелашка вздохнула. Она подумала, что родная мать хотя и побьет, но все же это как-то не так болит, а свекровь бьет словами больнее, чем кулаками.

Мелашка мыла руки, но тесто на них не так быстро отмывалось.

— Чего ты там копаешься? Мой поживее руки, а то отец снова войдет в хату да намылит нам шею! — уже закричала Кайдашиха на невестку.

Мелашка встряхнула ручонками, как птичка крылышками. Она не вымыла как следует руки, кое-как вытерла их полотенцем и бросилась вымешивать саламату. Усевшись на полу, она поставила между коленями горшок, обернутый тряпкой, и, торопясь, так повернула веселкой в горшке, что та увязла в густой саламате, хрустнула и переломилась.

— Ох, горе мое с этой нерадивой! — завопила Кайдашиха, глянув на Мелашку. — По мне, теперь втыкай хоть руку в саламату, да и вымешивай ее.

У Мелашки задрожали руки. Она схватила ложку и начала ею вымешивать саламату.

¹ Печки — название детской игры, состоявшей в том, что дети выкапывают ямки и закатывают в них мячи.

— Мать твоя, наверное, саламату вымешивает ложкой, да и тебя этому научила! — крикнула со злостью Кайдашиха.

Мелашку душили слезы. Она заплакала.

Как только Кайдашиха вымесила хлеб, Мелашка, посыпая лопату отрубями, начала сажать его в печь. Проголодавшийся Кайдаш опять вошел в хату и стал бранить жену и невестку.

— Какого черта вы вдвоем делаете, если у вас до сих пор обед не готов! — закричал Кайдаш на всю хату. — Пойди, Мелашка, к Мотре и одолжи у нее хлеба на обед

Не успела Мелашка переступить порог, как свекровь дико закричала, словно ее кипятком облили:

— Не ходи к Мотре одалживать хлеб, а то ноги ухватом перебью! У нее и снегу зимой не выпросишь.

В хате Карпа дверь была открыта, и Мотря все слышала.

— Если только кто-нибудь из вас переступит мой порог, то я вам вот этой кочергой ноги обеим перебью! — крикнула Мотря со своего порога и показала кочергу. — Сами спят до обеда, да еще и меня осуждают; осуждайте теперь Мелашку, а меня не трогайте. — И Мотря с такой силой захлопнула дверь, что даже на чердаке загудело.

Мелашка побежала к соседке одолжить хлеба на обед.

Хлеб Мелашка одолжила и шла домой садом. В саду она увидела Лаврина.

— Обижает тебя, моя родненькая, мать, — сказал Лаврин и своими ласковыми словами будто сгладил ругань матери.

— Что мать бранится — пустое, лишь бы ты меня тешил своими глазами, — сказала Мелашка, глянув в синие очи Лаврина.

Когда шла за хлебом, ей казалось, что сад увял, листья пожелтели, а когда возвращалась назад, глянула в глаза милому — и сад вновь как бы расцвел, зазеленел и солнце весело заблестело в нем.

И опять в хате Кайдаша возникли ссоры. Кайдашиха все чаще ругалась и придиралась к Мелашке. Она почти ежедневно нападала на невестку, точила ее, как вода камень. Мотря не любила Мелашку и все

подкапывалась под нее, как речка под крутой берег. Мелашка жила в одной хате с Кайдашихой, и поэтому Мотря ненавидела ее.

Наступила жатва. Кайдашиха взвалила на Мелашку работы целый воз. Мелашка соскучилась уже по Биевцам, по отцу и своей доброй матери. Она просила у свекрови позволения сходить в гости к отцу, но та непустила ее. Каждое воскресенье Мелашка отпрашивалась у свекрови к родным, и каждое воскресенье Кайдашиха находила для нее работу. Мелашка совсем запечалилась.

— Чего ты, Мелася, грустишь, даже похудела? — спрашивал у нее муж.

— Соскучилась я по матери. Вот уже и жатва кончается, а я еще ни разу не была у матушки в гостях. Этой ночью мне приснилось, будто я превратилась в кукушку и полетела в Биевку. Прилетела в сад к отцу, села на вишне. Отец будто бы вошел в сад и приглашает меня в хату. Я влетаю в хату, гляжу, а мать, завернутая в кисею, покрытая черным сукном, лежит на лавке мертвая, сложив руки на груди, и жалобно смотрит на меня.

— Если мать тебя не отпускает, так я попрошу отца. Пожнем ярый хлеб, тогда, может, и в гости пойдем.

— Попроси, Лаврин, отца, а то я от тоски не знаю, куда спрятаться. Шумит дубрава на горе да только грусть на меня нагоняет. Каждый вечер гляжу я на горы за Росью, и каждый вечер надрывается моя душа! Если бы у меня были крылья, то, кажется, сейчас бы улетела проведать свою матушку. Такая меня тоска гложет, что если бы кукушкой полетела я, то леса иссушила бы своей тоской, сады поломала своими крыльями, степи сожгла своей грустью, а слезами залила бы зеленые луга.

Молодица залилась слезами, как маленькое дитя. Лаврину стало жаль молодую жену. Он привлек ее к себе, стараясь утешить ласковыми словами.

— Мне кажется, что и дорога к моей матушке терновником и ежевикой заросла, — сказала Мелашка.

Лаврин все-таки упросил отца, а тот стал уговаривать жену. Кайдашиха наконец отпустила невестку к родителям, но сама не поехала. Даже пуховые подушки и наливки попадьи не заманили ее в Западницы. Кайдашиха советовала мужу поехать к сватям. Но

Кайдаш не захотел ехать в Биевцы, потому что там плохая водка.

— Возьми, Мелашка, хоть каравай хлеба отцу, а детям я передам гостинцев; вот, видишь, какой каравай! В Западинке, наверное, и не видали таких, не то что ели, — сказала Кайдашиха, подавая Мелашке мягкую буханку.

Мелашка взяла буханку в руки. Но она казалась ей тяжелее камня. И Лаврин пошел с Мелашкой в Биевцы.

Мелашка переступила отцовский порог, горько заплакала, склонившись на грудь матери.

— А я думала, дочка, что ты уже от нас совсем отказалась. Ждала, ждала тебя в гости, все в окна выглядывала, а потом и перестала.

— Не пускал нас отец, не пускала нас и мать, — ответил Лаврин, — в жатву было много работы.

— Чего это ты, доченька, так расплакалась? Наверное, очень соскучилась по Биевке да по нас, — говорила мать. — Привыкай, милая, к чужому селу и к новой родне. Ведь другие как-то привыкают. Недаром говорят: девка как верба, где посадишь, там и привьется.

— Не так легко, мама, привиться, коль посадили меня словно в горячий песок.

Мать задумалась: она догадывалась, какой это был горячий песок.

— У нас была — как роза цвела, а теперь будто завяла, — промолвила Балашиха словами песни, разглядывая дочь. — Отчего, доченька, ты так побледнела, будто пыль тебя припорошила? И голос твой стал таким тихим и грустным.

— Не с чего мне, мама, цвести. Если бы не Лаврин, так я, кажется, с радостью вернулась бы к вам.

— Нет уж, дочь, коль завязала головушку, так не развяжешь ее до самой смерти, — ответила Балашиха, улыбаясь сквозь слезы.

Мать считала, что Мелашка скучает по Биевцам, что она еще слишком молода и потому с сожалением вспоминает о своей девичьей красе и черной косе. Мать и не думала, что дочери так тяжело у свекрови.

— Привыкай, родненькая! Когда я вышла замуж за твоего отца, тоже плакала, а потом привыкла. Такова уж наша женская долюшка.

Мелашка, расцеловав маленьких братьев и сестер, развязала платочек с гостинцами. Дети облепили платочек, как мухи мед. А в нем чего только не было: и орехи, и семечки, и груши, и яблоки, да еще и медовики. Дети даже в ладоши хлопали и щебетали на всю хату.

Балашиха покрыла скатертью стол, поставила бутылку с водкой. Балаш угощал зятя, а Мелашка пошла с матерью в сад, жаловалась на свекровь и свекра, выплакала все слезы, накопившиеся у нее за время жатвы, и обильно полила ими садик матери. А мать стояла под вишней и тоже плакала.

— Я и недели не пробыла у свекрови, а уже слезами умылась, — рассказывала Мелашка. — Если бы Лаврин не заступался, так они бы меня съели. А рядом через сени живет жена Карпа Мотря, лютая, как змея, — ненавидит меня из-за свекрови. Защиплют, заклюют они меня, мама, как злые коршуны голубку.

— А ты, дочь, не потворствуй свекрови. Ведь Мотря не молчит, так и ты не молчи.

— Но ведь, мама, вокруг меня все чужие люди, чужой род, чужое село. Я одна, как былинка в поле, а они все на меня, как ветер на былинку...

Поплакала Мелашка с матерью в саду, потом вошла в хату, села за стол полдничать, но так ничего и не съела.

«Если бы мне удалось перетянуть сюда Лаврина, я навеки бы осталась у матушки», — подумала Мелашка, разглядывая убогую хатенку.

Мелашка пробыла у отца весь день, пошла к соседям, повидалась с ними, наговорила вдоволь и уже в сумерки распрощалась с родней. Шла она по тропинке через весь двор к воротам и все оглядывалась назад, на отцовскую хату; вошла на гору, еще раз посмотрела на вишневый садик.

«Прощай, мой покой, мой веночек, вишневый отцовский садочек!» — подумала Мелашка и пошла с Лаврином через село домой.

Уже ночью вернулись они домой. В хате все спали. Дверь была заперта на засов. Лаврин постучал в дверь. Но в хате никто не откликнулся. Лаврин постучал в окошко.

— Ждите! Стану я вам открывать! — заорала Кайдашиха из хаты, как из бочки. — Раз досиделись до ночи, так и ночуйте хоть на дворе, мне все равно.

Старик Кайдаш ничего не слышал и спал как убитый. Кайдашиха умолкла. В хате опять все стихло.

Лаврин подошел к окну Карпа и постучал по стеклу.

— Кто там стучит? — крикнула Мотря.

— Мотря, открой, пожалуйста! Это мы, — ответил Лаврин.

— А мать почему не встанет да не откроет? Наверное, ждет, пока я встану, — отозвалась Мотря, словно откуда-то из погреба.

— Открой, пожалуйста, а то мать не хочет отпереть дверь, — упрашивал Лаврин Мотрю.

— Как раз!.. Не большая барыня! Пускай сама встанет и откроет, — крикнула Мотря.

В хате брата кто-то зашевелился: это поднялся Карпо. Выйдя в сени, он стукнулся лбом о дверь, свалил кочергу, опрокинул меру и, зевая во весь рот, отодвинул засов.

Лаврин и Мелашка вошли в хату. В открытую дверь налево кричала Мотря, а в дверь направо вопила старая мать.

— И где их черт носит до полуночи! Шатаются по ночам вместе с чертями, да еще им и дверь открывай! — орала с одной стороны Мотря.

— Досиделись чуть не до зари, будто завтра праздник! Да еще поднимайся и дверь им открывай! — вопила с печи мать.

— Чего вы, мама, шумите — ведь не вы дверь нам открыли, а крик подняли на всю хату, — отозвался Лаврин.

— Ишь ты, гулял до полуночи со своей Мелашкой под ручку по всей Западinke, да еще и меня разбудил.

— Какого ты черта орешь? Даже меня перепугала! — отозвался спросонья старый Кайдаш. — Вот подняли гвалт! Я уже думал, что хата горит.

Мелашка, поскорее сбросив с себя свитку, свалилась на лавку словно неживая. Лаврин погасил лампу. Мелашке казалось, будто она, выйдя из цветущего сада, вдруг ступила босой ногой прямо на лед.

«Погоди-ка, Мотря, я подметала сени, выносила свой и твой мусор, а завтра не вынесу, — решила

Мелашка, припоминая напутствие своей матери.— Пускай уж свекровь ругает, а то еще и она кричит».

На следующий день Мелашка подмела свою хату, а половину сеней словно шнуром отмерила.

— Вишь, как ровненько подмела! Не поясом ли вымеряла сени? — спросила Мотря у Мелашки.

— Да хотя бы и поясом, тебе какое дело! Не буду я теперь подметать твою половину сеней и выносить твой мусор, — ответила Мелашка.

— А разве ты не мерила сени шнуром, когда мазала пол и стенки? — откликнулась Кайдашиха. — Все вы меряете, чтоб вас нечистая сила мерила!

После этого Мелашка нажила себе еще одного врага. Мотря не давала ей проходу в сенях: злилась на Мелашку за гот проклятый мусор. С той поры в хате Мелашку поедом ела свекровь, а в сенях и во дворе ее подстерегала Мотря.

Пришла зима, наступило тяжелое время для Мелашки. Кайдашиха насела на нее, как злая доля: сама она спала вволю, выполняла легкую работу, а всю тяжелую — переложила на Мелашку, будто на свою батрачку. Молодая Мелашка, заброшенная в чужое село, в среду чужих ей людей, не посмела возражать и молча делала все, что приказывала свекровь. Она была лишь тогда счастлива, когда ей удавалось отпроситься в гости к отцу, но это случалось очень редко. Старый Кайдаш пьянствовал в корчме, приходил домой пьяный и свою злость сгонял больше на невестке, чем на жене. Мотря ни разу не пропустила Мелашку через сени, не задев ее едким словом. Лаврин вначале заступался за нее, а потом перестал.

Наступила страстная неделя. В понедельник на пасхальной неделе к Кайдашам зашла баба Палажка Соловьяха. Она была очень богомольная и ежегодно ела кулич в Киевской Лавре. И теперь она собиралась в Киев, но идти туда одной скучно, к тому же немного боязно отправляться в дальний путь, и она все пыталась подговорить идти с собой самого Кайдаша, ведь с мужчиной в дороге старухе безопаснее.

— Бог в помощь! Поздравляю вас с великим понедельником, — промолвила Палажка.

— Спасибо, будь и ты здорова, — ответила Кайдашиха, -- садись, Палажка.

Палажка села на скамью, согнувшись в три погибели. В великом посту она так напостилась, что у нее лишь одни глаза блестели.

— Пойдешь ли, Палажка, и в этом году в Киев? — спросила Кайдашиха.

— Если господь поможет и сподобит, почему бы и не пойти. Двадцать куличей съела я в Киеве; может, бог поможет съесть и двадцать первый. Старуха Головчиха согласилась пойти со мной, да, может быть, кто-нибудь из вас пойдет с нами; ведь если хоть один человек из хаты пойдет есть кулич в Киев, то бог благословит всю семью и непременно ниспошлет урожай хлеба. А если кто ежегодно будет есть кулич в Киеве, да еще и помрет на страстной неделе, так тот попадет прямо в рай, потому что в страстную неделю царских врат не закрывают ни в церкви, ни в раю; душа так и полетит через царские врата прямо в рай, — говорила Палажка, обращаясь к Кайдашу. Она знала, что он богобоязнен.

— А кто постится двенадцать пятниц в году, тот разве не попадет в рай? Не слыхала ли ты, Палажка, об этом что-либо в пещерах или в Лавре? — спросил Кайдаш.

— Нет, — сказала с достоинством Палажка, — кто постится по пятницам и носит при себе сон богородицы, тот в воде не утонет, в огне не сгорит, наглой смертью не помрет, но и в рай не так просто попадет. А кто пойдет в Иерусалим, или ежегодно в Киевской Лавре будет кулич есть, или преставится на пасху, тот спасется, душу того ангелы понесут прямо к богу.

Мелашка слушала все это, и работа валилась у нее из рук.

— Надо в Киеве на страстной неделе исповедаться, в чистый четверг причаститься, молебен в пещерах нанять, надо о здравии и за упокой подать, на святые мощи по грошу положить, и тогда только господь помилует нас, — поучала баба Палажка, подняв палец кверху — А кто купит миро с мироточивых глаз или оливы с лампад над святой Варварой и будет мазать себе глаза и лоб, у того никогда не будут болеть глаза и голова. Я знаю в Киеве все мощи, все церкви. Вот когда хожу я по пещерам да по церквам, так за мной идет сотня, а то и две людей, а я всем рассказываю:



в какой церкви какие мощи находятся, показываю, где лежат перья архангела Гавриила в женском монастыре, где стоит молоко богородицы, где святой Николай прижал к стене своей иконой злодея, который хотел обокрасть церковь.

— Неужели прижал? — спросила Мелашка, раскрыв широко глаза.

— Вестимо, прижал, да еще и рукой схватил и держал, пока монахи со всего Киева не сошлись. А от иконы, как от солнца, разливался свет на всю церковь. Монахи думали, что в церкви пожар, и сбегались. Как увидели такое чудо, то живо на

себя ризы надели и сейчас же в колокола ударили, схватили в руки свечи, и давай перед Николаем служить да поклоны бить. Тогда образ и отпустил злодея. А тот злодей сразу же постригся в монахи и стал святым.

В хате все слушали рассказ Палажки. Молодухи сложили руки на груди и, тяжело вздыхая, причитали:

— Ой, боже наш, боже наш!

— А я как приду к этому Миколаю, да как начну рассказывать, так меня люди окружают, да и слушают, даже шапки снимают и крестятся. Я знаю, где и деньги возле икон класть, а где монахиням да монахам прямо в руки давать. За мной люди так и идут гурьбой, а я их веду от Военного Миколая до Десятинного, от Десятинного Миколая к Доброму, от Доброго Миколая к Малому, а далее к Мокрому Миколаю, а потом к Притискому Миколаю.

— Ой, отпустите меня, мама, в Киев с бабкой! — упрашивала Мелашка. — Я выросла, а в Киеве еще не была. Меня и господь не помилует на том свете.

— А церкви там все с золотыми куполами. В пещерах лежат двенадцать братьев, которые строили лаврскую колокольню. Сказывают, что когда ее строили, то она все оседала и оседала в землю, а как-то однажды ночью вся вышла из земли. С тех пор все братья постриглись в монахи. Господи, сколько я людей водила на самый верх колокольни, к большим колоколам.

— Ой, пустите меня, матушка! Кажется, помру, если не пойду в Киев. А правда ли, что там есть такой лев, у которого вода изо рта льется?

— Да, да, есть; а на льве сидит святой Самсон и ему пасть раздирает. Когда поймал он его на Подоле, возле Днепра, да разодрал ему пасть, то и сам камнем стал, лев тоже окаменел, и у него изо рта вода потекла. Да какого только там дива нет! Коль рассказывать обо всем, то не только дня, недели бы не хватило! — сказала Палажка, повернув глаза к иконам, подняла обе руки, да еще и пальцы растопырила. — В церкви на Андреевской горе под престолом струится источник, и в этот источник каждый год набивают полный воз шерсти. Как только покажется сверху роса, туда снова набивают все шерсти, потому что если из этого источника польется вода, она весь мир зальет. Я собственными ушами слышала, как ангелы взбалтывали сию воду под престолом. Ох, господи, помилуй нас, грешных!.. — И Палажка вздохнула на всю хату.

Старый Кайдаш сидел, наклонив голову, а Мелашка плакала.

— Пойду я с бабкой в Киев и причащусь в Лавре. Если не пустите меня, то я, наверное, помру, — произнесла Мелашка.

— И в самом деле, Маруся, отпусти невестку в Киев, а то, коль не отпустишь, будет тебе великий грех от бога, — поучала Палажка, указывая пальцем на иконы.

— Да ведь на страстной неделе работы много, — отозвалась Кайдашиха.

— Я, мама, готова день и ночь не спать, но сделаю вам все дела и пойду, — упрасивала Мелашка, вытирая слезы.

— По мне, иди, да и за нас подашь о здравии и за упокой, — сказал Кайдаш. — Пошел бы и я, но наступает пора мужской работы в поле.

— А если, дочка, думаешь идти, то испеки себе святой кулич, калач да положи в котомку яичек, да кружок колбаски, да кусочек сала, чтобы разговеться освященным в Лавре, тогда тебя господь простит и помилует, — поучала Палажка. — А я тебе везде дорогу покажу, как по-писаному. Меня знают богомольцы со всего света, я всеми ими руковожу в Киеве. В Киеве все они ходят за мной, как овцы за пастухом.

Баба Палажка распрощалась и вышла из хаты. Кайдашиха замесила тесто и испекла Мелашке маленький кулич. Баба Палажка собрала вокруг себя десять баб и на следующий день зашла за Мелашкой. У Палажки в лукошке были и куличи, и большой калач, и сало, и соль, и даже яички. Она подходила к каждой хате, кланялась людям и молила их простить ее грехи. Наконец богомольцы пошли в Киев.

— Смотри, дочь, не задерживайся, скорее домой возвращайся! — приказывала невестке Кайдашиха, стоя за воротами.

— Если господь не примет нас к себе, то и вернемся, — говорила Палажка, кланяясь при этом колокольне чуть ли не до земли.

Идя селом, Палажка заходила в некоторые хаты, чтобы попрощаться с теми молодухами, с которыми она ругалась; но так как она ругалась со всеми живущими в селе, то ей пришлось заходить почти в каждую хату, ходить из хаты в хату, как ходит поп с молитвой.

Богомольцы шли весь день, а вечером в одном селе упростили добрых людей приютить их на ночь. Переночевали и на рассвете опять отправились в путь. Мелашка словно на свет родилась: в пути ее не доносили ни свекровь, ни свекор, ни Мотря. Вдоль дороги зеленела молодая рожь, вдали синели горы и курганы. На дворе было тепло и ясно. Ощувив свободу, Мелашка воспрянула духом.

Солнце уже повернуло с юга. По одну сторону дороги возвышался большой холм, а на вершине его могила. Баба Палажка повела молодух на этот курган. Оттуда был виден Киев с церквами и колокольнями. Богомольцы никогда не проходили мимо этого кургана.

Палажка, взойдя на могилу, упала на колени и стала молиться. С вершины холма были видны высокие колокольни, церкви с золотыми куполами. Вокруг Киева, в долине, густо зеленел лес, и вдали за Днпром, будто покрытый сизым туманом, синел бор, да между соснами кое-где блестели широкие плесы разливающегося Днепра. В лесу блестели золотые кресты монастырей, как драгоценные камни, разбросанные на его вершинах. Солнце освещало киевские горы; золотые купола сияли и, казалось, пылали. Баба Палажка склонилась головой к земле, за ней стали бить поклоны и молодухи.

Палажка привстала и, подняв вверх руки, начала рассказывать богомольцам:

— Вон, глядите, виднеется большая лаврская колокольня, рядом, возле нее, Лавра, а там дальше святая София, а вон святая Варвара.

Молодухи водили глазами за ее рукой, а Мелашка стояла словно каменная. Золотые купола и белые колокольни казались ей какой-то дивной сказкой. Она впервые шла в Киев. Богомольцы, миновав бор, подошли к заставе. Возле заставы стояла монашка, которая настойчиво уговаривала их:

— Спасайтесь, люди добрые! Пусть вас господь спасет и помилует. Идите говеть в наш монастырь святого Флора и Лавра на Подоле. У нас больше мощей, чем в других монастырях; у нас есть даже частица тела младенца, убиенного Иродом, есть риза Христова и кровь из его ран, и перья архангела Гавриила, и молоко богородицы.

Богомольцы подходили к заставе сотнями. Монашка уговаривала и зазывала в свой монастырь. Около сотни богомольцев пошли за нею. У других застав также стояли монахини и завлекали к себе молящихся.

Баба Палажка не послушала монашку. Она гордо заявила, что идет в Киев есть двадцать первый кулич и сама хорошо знает все церкви и монастыри.

Под вечер Палажка привела богомольцев в Лавру. — Здесь ли тот лев, у которого изо рта течет вода? — спросила Мелашка.

— И вовсе не здесь! — кичливо ответила Палажка. — Погоди, покажу я тебе и льва. Это, видишь, большая колокольня, а то Лавра; тут лежат мощи святого Феодосия...

Мелашка посмотрела на колокольню и немного испугалась. Ей почему-то казалось, что колокольня вот-вот упадет на нее и раздавит.

Богомольцы вошли в церковь. В большой лаврской церкви шла служба. Это было как раз на страсти господни, в чистый четверг. Большая церковь была набита людьми и пылала от огня свечей. По церкви будто разлилось пылающее море, оно залило уголки, скользнуло по колоннам и стенам и вспыхнуло на высоком иконостасе, доходившем почти до потолка, расплавило его в чистое золото и повисло под куполами огненными каплями на паникадилах. После чтения каждого Евангелия звонили в колокола. На середину церкви выходили монахи, становились полукругом и пели страстные песни.

Палажка и Мелашка зажгли свои свечи и упали на колени. На середине церкви сорок монахов в черных клобуках пели так жалобно, словно хотели в песнях выплакать людское горе. Это были не печаль, не плач, а какое-то стенание, какое-то море слез, которое собиралось тысячи лет, соединилось воедино и песнями полилось из груди. Казалось, в этом море слез текли реки народного горя с начала существования мира, горя от холода и голода, от меча, от татар, от царей, от господ, от иудеев, от сильных и богатых, от диких зверей...

Какая-то необычайная скорбь была в этих давних лаврских песнях, создававшихся сотнями лет... У Палажки и у Мелашки сжались сердца. В словах песни, казалось им, текли реки их собственных слез от их бедности, от московских и польских экзекуций, от старинного польского ярма, от еврейского грабежа... Палажка плакала, даже рыдала, а Мелашка словно бы услышала и узнала в этих песнях свое горе, обрушившееся на нее в хате свекрови, и залилась слезами.

— Спаси меня, боже! Спаси, а то погибнет моя молодая душа! — молилась Мелашка, стоя на коленях рядом с Палажкой и горько рыдая.

Они вышли из церкви. Была уже ночь. Из церкви вывалилась толпа людей. Возле Лавры находилась гостиница только для господ. Все они вповалку улеглись на каменных плитах вокруг церкви. Богатая Лавра не в состоянии была построить гостиницу для народа, хотя и обогащалась за счет народных денег.

Небо усеяли звезды. Мелашка долго не могла уснуть. Ей все казалось, что над ее головой висит колокольня, а в окна выглядывают огромные колокола. Она была поражена величиной колоколов, и в то же время страшилась их, и все расспрашивала Палажку о пещерах, о святых в них, о льве да о перьях архангела Гавриила. Ей так хотелось увидеть все эти чудеса, что она даже не чувствовала, как болели ноги, ныли колени.

На следующий день баба Палажка повела молодежь по церквам. К ней присоединилось еще около полусотни богомолков. Все они шли за ней, будто слепые за поводырем. Палажка водила богомольцев из одной церкви в другую, так что они потеряли им счет. Богомольцы побывали в Софиевском монастыре. Посредине церкви на амвоне стояло кресло митрополита с красной подушкой. Один из звонарей поставил на подушку небольшую икону, оловянный поднос, смиренно склонил голову и положил на поднос грош. Баба Палажка тоже трижды поклонилась креслу, приложилась к иконе и бросила на поднос грош. Ее примеру последовали и все остальные. Полетели пятаки. Звонарь собрал деньги и спрятал их в свой карман.

— Святой сидел на этом кресле! Подходите целовать икону да кладите за это по грошу, — говорила бабка Палажка молодухам.

Потом Палажка повела их в Михайловский монастырь и заказала там молебен в честь святой Варвары. Следом за ней и остальные молодухи клали деньги на молебен. Потом Палажка повела их к церкви святого Андрея, а оттуда на Подол в Фроловский женский монастырь.

— Закажите молебен святому Флору и Лавру, — шептала монахиня молодыхам. — Жертвуйте на святые мощи, а деньги давайте мне в руки.

Некоторые молодыхи отдали деньги монахине прямо в руки. А монахиня спрятала их где-то у себя под черной рясой.

— А покажут ли нам ризу господнюю и перья из крыльев архангела Гавриила? — спросила баба Палажка.

— От перьев ключи находятся у матушки игуменьи. Вам не удастся сегодня посмотреть на них. А ризу господнюю я вам покажу.

Монашка повела женщин в глубь храма за колонны, сняла с одной серебряной гробницы с мощами красное покрывало. Под ним было второе — очень дорогое, все золотое и с золотыми кистями.

— Спасайтесь! Прикладывайтесь к ризе господней! — зывала монашка скорбным голосом. — В этой ризе иудеи Христа мучили.

Баба Палажка упала на колени, залилась слезами и поцеловала кончик золотого покрывала. Мелашку охватил какой-то страх, когда она прикоснулась губами к золоту и к бархату. Ей показалось, что она видит самого Христа и целует его одежду. Все молодыхи плакали и вытирали слезы, а монашка жалостливо расписывала, как иудеи мучили Христа, как накладывали на его голову терновый венец, как избивали плетьюми и распинали на кресте. Богомольцы бросали деньги на ризу, а монашка забирала их и прятала под своей рясой, все время поглядывая на дверь, чтобы матушка игуменья не увидела.

В великую пятницу Палажка повела богомольцев на Подол. Богомольцы заночевали в Братском монастыре.

Заутреня должна была начаться в три часа ночи. Богомольцы решили заночевать на траве под липами, росшими вдоль монашеских келий. Из двери одной монашеской кельи за богомольцами следил молодой, здоровый, круглолицый, с большой бородой монах. Он еще в церкви обратил внимание на Мелашку. Ее красота так поразила его, что он не мог оторвать от нее глаз. Он следом за ней вышел из церкви, заметив, как она вместе с богомольцами уселась под липами пол-

дничать, и стоял у двери кельи до тех пор, покуда на дворе не наступили сумерки и богомольцы улеглись спать на траве. Он подметил, что Мелашка расположилась второй от края, и ушел в свою келью.

С края, рядом с Мелашкой, улеглась баба Палажка, которая была похожа на доброго пастыря, оберегавшего свою паству. Но одна из семигорских молодых где-то замешкалась и, придя к своим попутчицам, улеглась спать возле бабы Палажки с края, подложив под голову узелок с едой. Баба Палажка теперь спала второй с края.

Поздно ночью, когда все богомольцы спали таким сном, что их не разбудили бы и лаврские колокола, монах вышел из кельи, отыскал ряд, где, как ему казалось, второй с края лежала Мелашка, подкрался тихонько к ней, да и наскочил как раз на бабу Палажку.

А в этот момент бабе Палажке приснилось, что она взобралась на лаврскую колокольню и остановилась под большим колоколом. Вдруг колокол оборвался и упал на нее. Она закричала что есть мочи, но тяжелый колокол прижал ее и закрыл ей рот. Она проснулась и почувствовала, что ее лицо щечочет чья-то большая борода, а чьи-то губы впились в ее губы так, что она не могла раскрыть рот. Она хотела было поднять руки, но кто-то держал ее руки, придавив их к земле, словно наковальней. Она пыталась повернуть голову, но страшная борода покрыла ее лицо, а чьи-то губы так целовали ее в губы, что они оказались словно прилипшими к зубам.

Баба Палажка перепугалась. Ей показалось, что на нее действительно свалился большой колокол, что это ей не снится, а происходит наяву. Но вот ей как-то удалось освободить голову, и она закричала благим матом так, что разбудила всех богомольцев. Поднялся гвалт, шум. Богомольцы всполошились, закричали, а полные губы продолжали целовать щеки, глаза бабы, а потом вдруг что-то черное вскочило с земли и пулей понеслось к липам.

«Что сие значит? — подумал монах. — Такая красивая молодуха, а лицо шершавое, как дырявый горшок; даже губы зудят!»

— Что случилось? Воры, что ли? — спрашивали сонные богомольцы.

— Это тебя, Палажка, кто-то целовал или пытался обокрасть, — отозвалась бабка, лежавшая с края.

— Ой, что-то побежало! — закричали молодухи, и каждая из них стала ощупывать свои пожитки, лежавшие под их головами.

— Это нечистая сила пыталась задушить меня, — сказала баба Палажка. — Это дьявол хотел меня совертнуть, потому что я уже исповедовалась и завтра должна была причащаться. Ой, боже мой, какой грех! Двадцать куличей съела в Киеве, а на двадцать первом так нагрешила. Дьявол все лицо, губы и щеки исclusionявил мне. Тьфу ты, сатана!

— Да это какой-то послушник побежал в келью, — сказал какой-то мужик.

— Да! Хороший послушник! Это, сохрани нас дух святой, дьявол! К лешему таких послушников. Придется завтра второй раз исповедоваться. Вот так причастилась! Боже мой, за что мне такая напасть от искуителя, — горевала баба Палажка.

— Очевидно, какой-то послушник, потому что я слышала, как он вас, бабушка, целовал, — сказала простодушная Мелашка.

— Такое выдумала! — ответила баба Палажка. — Разве в монастырях могут быть такие монахи? Разве мне впервой бывать в Киеве? Болтает, словно маленькая. Не вздумай еще об этом сплетничать в Семигорах, когда вернемся домой.

Баба Палажка очень обиделась. В словах Мелашки она усматривала желание подорвать ее авторитет, что, мол, даже черти и те уже обратили на нее внимание и удостоили ее своими ухаживаниями и поцелуями.

Однако на следующий день баба Палажка побоялась ночевать в монастыре и повела односельчан говеть в одну из церквей на Подоле, которая находилась у подножья Андреевской горы. В этой церкви был старенький священник. Около кладбища на церковном дворе он построил для богомольцев длинный сарай с перегородками, но без окон, и разрешил им там ночевать. Благодаря такому сараю он привлекал в свою церковь массу богомольцев и получал солидный

доход. Монастыри не удосужились построить для ночлега крестьян даже таких сараев.

Баба Палажка привела богомольцев в этот сарай. Там они сложили свои котомки и заперли дверь. Рано утром в пасхальную субботу богомольцы направились в церковь говеть.

Старый поп исповедовал людей. Сотня богомольцев окружила его и ждала своей очереди. Баба Палажка взмахом руки подозвала своих односельчан и направилась к выходу. Она боялась, что не дожидется исповеди. А грех минувшей ночи мучил бедную старуху, как адский огонь.

Как только семигоровцы застучали своими сапогами по чугунному полу, священник приостановил исповедь одной старушки и завопил на всю церковь:

— Куда же вы, бабоньки! Идите ко мне исповедоваться! У меня на копейку дешевле, чем у Мокрого Миколая. Возвращайтесь сюда! У меня исповедь дешевле и отпущение больше.

Баба Палажка вновь взмахнула рукой, и вся ее ватага богомольцев повернула обратно, стуча каблуками по чугунному полу.

В то время как баба Палажка исповедовалась, Мелашка вышла из церкви и примостилась возле женщин, сидевших длинными рядами на ступеньках церкви, под колоннами. В стороне от нее сидела старенькая просвирня, продававшая просвиры.

Мелашка задумалась. Три дня прожила она в Киеве, как в раю. Вспомнив о том, что через день ей нужно возвращаться домой, она тяжело вздохнула. И на глазах у нее выступили слезы.

В Киеве она не видела ни свекрови, ни свекра, ни Мотри, не слышала ни от кого грубого слова. Никто здесь не терзал ее. Просвирня услышала этот тяжкий вздох, посмотрела на молодуху и загляделась на нее.

— Чего ты, молодница, так тяжело вздыхаешь? — спросила она Мелашку.

— Господи, как здесь, в Киеве, хорошо! А вот как подумаю, что нужно возвращаться домой, так и кажется мне, что через день в могилу сойду.

Мелашка рассказала просвирне о своем горе. Добрая просвирня слушала ее рассказ и сочувствовала ей.

У Мелашки возникло удивительное желание. Ей в голову неожиданно пришла мысль — остаться в Киеве. Красота города, величие — все это так пленило ее, что она забыла даже про Лаврина.

— Возьмите меня, матушка, в наймички. Не пойду я домой.

— Если хочешь, то становись помесячно. У меня одна работа — ежедневно печь просвиры, — ответила просвирня.

От просвирни как раз уходила работница, а Мелашка ей понравилась.

— Тут в церкви наши односельчане. Спрячьте меня, матушка, в своей хате, пока они не уйдут из Киева.

Просвирня повела ее к себе домой. Квартира ее находилась возле церкви, на кладбище, в большом доме, в нижнем этаже, только входная дверь была за воротами, в другом дворе. Просвирня привела Мелашку в кухню. Кухня была небольшая, но высокая, с одним окном, с железной решеткой. Под окном у стены стоял длинный стол. Весь стол был покрыт рядами больших, маленьких и совсем маленьких просвир. На кровати возле печи, на подушках, покрытых белым покрывалом, лежали большие, как буханки хлеба, просвиры.

Работница клеймила просвиры.

Просвирня велела Мелашке помыть руки и поставила ее в конце стола выделывать просвиры. Мелашка раскатывала тесто и все поглядывала на дверь. Она боялась, что баба Палажка отыщет ее.

Огромная печь была уже накалена и дышала огнем. В соседнюю маленькую комнату, где жила просвирня, дверь была открыта. Комната была чистая, красивая, как веноч. На постели белели чистые подушки. На окне среди зеленых листьев алели китайские розы. Возле икон с золотыми широкими рамами мерцала лампадка. Такое спокойствие царило в этих комнатах, что Мелашке казалось, будто сейчас лето и на нее подул тихий теплый ветерок. Она выделывала просвиры, а ее мысли летели в Семигоры, к Лаврину. Слезы появились у нее на глазах. Она вытерла их рукавом.

«Домой теперь не вернусь, останусь здесь, если бог даст, а потом что будет, то и будет», — думала Мелашка, вытирая слезы.

Между тем баба Палажка выстояла службу, причастилась и повела женщин из церкви. Она хотела вести их в пещеры, но на кладбище оглянулась во все стороны и заметила, что Мелашки с ними нет.

— Куда это запропастилась Мелашка? — спрашивала Палажка, осматриваясь по сторонам. — Не осталась ли она в церкви?

Палажка вернулась: пономарь уже закрывал дверь церкви и запирает ее на замок.

— Куда это она пошла? Может, где-нибудь за церковью? — говорили женщины.

Палажка с молодыхами обошла вокруг церкви, заглянула в сарай, осмотрела весь двор, но Мелашки нигде не было.

— Ох, боже мой! Где это она замешкалась? — забеспокоились женщины, усевшись под колоннами на ступеньках.

Сидели они, сидели, ждали-ждали, а Мелашки все не было.

— Куда это ее нечистый понес? — начала уже браниться Палажка. — А может, она поплелась с другими людьми? Зачем же тогда мы будем ее ждать?

— Конечно, пойдемте, а то еще и к пещерам опоздаем.

Богомолки поднялись и быстро пошли с кладбища.

Вечером женщины возвратились из Лавры за Мелашкой. Но Мелашка не приходила. Палажке надо было снова идти в Лавру на деяние, чтобы отвести кулича в Лавре, но Мелашка будто сквозь землю провалилась. Богомолки пошли в Лавру, дождались освященных куличей, разговелись и опять вернулись на Подол, но Мелашка так и не приходила. Они засуетились, забеспокоились, бросились искать Мелашку в монастырях, везде спрашивали богомольцев, но так ничего и не узнали. Просидели женщины в Киеве еще день-другой, да и пошли в Семигоры.

Баба Палажка, вернувшись в Семигоры, побоялась зайти к Кайдашам и рассказать им о Мелашке, а пошла к себе домой и отсиживалась. Однако по селу пошел слух, что Мелашка где-то отстала от своих

людей и не вернулась в Семигоры. Слух этот дошел и до Кайдашей: его принесла известная на все село лгунья, баба Параска Гришиха, лютый враг Палажки.

— Христос воскрес! С праздничком, доброго здоровья! — промолвила Параска, переступая порог Кайдашевой хаты. — Да вы, видать, и не знаете, где ваша Мелашка? Это же наша Палазья растеряла свое стадо где-то в Киеве. Водила, водила, пока не доводилась... Мелашка осталась в Киеве, а оттуда, наверное, пошла на заработки за границу или в Бессарабию. Не иначе! Палажке только бы слепых нищих водить по селам, а не людей в Киев.

— Да я уже слышала об этом от людей в селе, — ответила Кайдашиха, — Палажка завела нашу Мелашку, наверное, куда-нибудь под плотину или к водовороту, да и глаз не показывает.

— Ясно! Знаешь ли ты, почему она каждый год ходит в Киев есть куличи? Да она всю ночь в Братском монастыре обнималась и целовалась, уж и не знаю точно, с монахами или с чертями. Ей известны там все входы и выходы! Увидишь, если она не принесет из Киева второго бастрюка под полой, ведь один уже у нее есть; еще, чего доброго, и твою невестку научит этому.

Параска рассказала Кайдашам о всей комедии, которая случилась с бабой Палажкой в Братском монастыре в пречистую пятницу.

— Ты, Кайдашиха, не позволяй больше Мелашке ходить в Киев, когда она вернется домой. Теперь я знаю, как Палажка говееет в Киеве, — говорила баба Параска.

Лаврин стоял ни живой ни мертвый. У него и руки опустились.

— Ох, боже мой! Что же нам теперь делать? Где искать Мелашку? Это старуха завела, пусть бы ее в бездну завело, — говорила Кайдашиха.

— А ты пойдешь в волость и потребуешь, чтобы ее погнали в Киев искать Мелашку. Пускай знает, как водить людей, — натравливала Параска. — Да пойдешь и побей ее, намыль ей хорошо шею. Жаль, что она завела не мою невестку. Я бы показала ей Киев.

— Мама, это из-за вас Мелашка нас покинула, — вмешался Лаврин.

— Ну вот, из-за меня! Еще что-нибудь придумай! Разве я гнала ее в шею в Киев? — говорила Кайдашиха.

— Потому что вы ее поедом ели, пока наконец не съели. Если пропадет Мелашка, я вам этого не прощу, — говорил Лаврин, бледный как смерть. — А эту старую ведьму я за косы поташу в Киев, пускай ищет Мелашку.

— Верно, за косы, да еще и кнутом сзади надо подгонять ее! — подстрекала Параска. — Да чего вы сидите? Почему не идете к ней? Думаете, она сама к вам придет? Идите к ней, расспросите хорошенько, да схватите ее за глотку, да прижмите коленом как следует, тогда она вам и расскажет, где оставила Мелашку. Определенно, завела куда-то для спасения души.

— А правда, Параска, ты дело говоришь, — сказала Кайдашиха, — пойдем и пристанем к этой шаромыге, может, она знает, где Мелашка, да только не хочет признаться.

— Идите все вместе да насыдьте на нее хорошенько, тогда она и признается, куда нищих водила, — подбивала Параска.

Кайдаш, Кайдашиха и Лаврин пошли с бабой Параской к Палажке.

Палажка сидела под хатой на завалинке и грелась на весеннем солнышке. Она заметила за воротами Кайдашей с бабой Параской, догадалась, зачем они к ней идут, и немного струсила.

— Христос воскрес, Палажка! — промолвила Параска. — А я к тебе гостей привела и сама в гости пришла.

Баба Параска, открыв ворота и впусив Кайдашей, снова их закрыла, затем оперлась на ворота обеими руками и только посматривала своими смешливыми серыми глазами на Палажку. Губы ее улыбались, словно их помазали свежим медом. Она настроилась лицезреть эту комедию.

Баба Палажка не ответила на ее приветствие. Она только презрительно посмотрела на нее своими маленькими злыми черными глазами. Кайдаши окружили Палажку.

— Так что же это, Палажка, водила ты нашу Мелашку, пока не завела ее бог весть куда, — сказала Кайдашиха. — Где наша молодлица?

— А разве я знаю, где она! Отбилась она от нас около церкви на Подоле, да еще и нам хлопот наделала. Мы из-за нее в Киеве просидели лишних два дня, и пришлось еще бегать по монастырям да по церквам разыскивать ее.

— Так почему ты не зашла к нам и не рассказала об этом? — спросил Кайдаш.

— Куда вы, бабка, дели мою Мелашку? — кричал Лаврин. — Куда вы ее завели? Зачем вы оставили ее в Киеве?

— Ах ты, боже милостивый! Да разве я ее за пазуху спрятала, съела, что ли? Завела да завела... Разве Мелашка малое дитя, чтобы ее за ручку водить!

— Зачем вы ее подговаривали идти в Киев? Зачем вы притащились к нам со своей брехней, распустили свой дурной язык насчет всяких чудес? Зачем вы подбили молодлицу? — орал Лаврин, сложив руки на груди.

— О какой брехне ты болтаешь? Я рассказывала о чуде, а не о какой-то брехне. Бреши сам, ведь ты моложе меня. Не для того я хожу ежегодно в Киев, чтобы брехню распускать. У тебя, Лаврин, еще молоко на губах не обсохло, а ты преподобным женам брехню приписываешь.

— Идите, бабка, в Киев и отыщите Мелашку, а то, если подобра не пойдете, я вас силой туда потащу, — говорил Лаврин.

— Бери ее да тащи за косы, кнутом погоняй сзади! — крикнула за воротами баба Параска.

— А тебе какое дело? Ты зачем пришла пачкать мои ворота! Вишь, заслунявила ворота, бешеная корова! — крикнула с завалинки баба Палажка.

— Я, бабка, в волость пойду жаловаться на вас. И волостной заставит вас пойти в Киев за Мелашкой.

— А ты вожжами ее свяжи, да и веди! Чего глядишь на нее, как на святую и богомольную! — кричала за воротами баба Параска. — Целовалась в Киеве с монахами да с чертями, покуда не растеряла своей челяди.

— Кто? Я? — возмущенно закричала Палажка и вскочила с завалинки.

— А то кто же? Или, может, я? Хорошо разговелась, нечего сказать, — бросила Параска.

— Доведется идти тебе, Палажка, с нами в волость, — сказал Кайдаш, — не отвертись. Там перед обществом ответишь.

— Куда вы девали мою жену? Куда вы ее завели? — кричал Лаврин.

— Да она завела ее в монастырь к монахам! — крикнула Параска, стоя у ворот.

— Одевайся, пойдем с нами! Ничего тебе не поможет. Пойдешь с Лаврином в Киев и хоть покажешь, где потеряла мою невестку, — говорил Кайдаш.

— Ну что, поводырка, попалась? — кричала Параска.

— Когда пойдешь в следующий раз в Киев, больше не целуйся с монахами! — закричала Параска на всю улицу.

— Кто? Я? Так это ты обо мне такое насплетничала? — крикнула Палажка и схватила грабли. — Вот я сейчас покажу тебе, старая ведьма, монахов и чертей!

Палажка оставила Кайдашей, бросилась к Параске и запустила в нее граблями. Параска отскочила, а грабли переломились, половина их отскочила за ворота и задела по руке Параску. Параска схватила ее и швырнула через ворота в Палажку. Палажка схватила ручку от граблей и с остервенением бросила в Параску, на улицу. Параска подошла к воротам, плюнула во двор и пошла прочь как ни в чем не бывало.

— Пускай сразит тебя тяжкое горе да несчастье. Еще и пристаёт ко мне, будто я сжила со свету ее невестку, — голосила сквозь слезы Палажка, ухватившись руками за голову. — Ох, это не Мелашка, а смерть моя. Если она и осталась в Киеве, то определенно из-за тебя, Кайдашиха. Иди сама хоть в Киев, хоть за границу, ищи ее, мне все одно, — сказала Палажка, обращаясь к Кайдашихе.

— Что ты сказала? Мелашка из-за меня бросила нас? Тебе, Палажка, помирать время, а ты такое наговариваешь на меня! Опомнись, старая баба! Что

ты плетешь? Сама ходит по хатам, подговаривает людей идти с ней, а на меня вину сваливает.

— Да, из-за тебя! Разве люди не говорят про тебя на селе? Разве мы не знаем, как ты нападала на невестку? Вот именно так, как эта старая сука Параска на меня, что я из-за нее света не вижу.

— Палажка, не брешь на старости. Побойся греха, — сказала Кайдашиха.

— Нет, не брешу. Брешь сама! — крикнула Палажка и бросилась на Кайдашиху, как петух на петуха.

— Нет, брешешь! Чего тебе надо от меня и от моей невестки? Какое тебе дело, что творится в нашей хате? Чего ты заглядываешь в наши горшки?

Кайдашиха кричала и подступала к Палажке с кулаками. Палажка бросалась к Кайдашихе и била кулаком о кулак. Они то сходились, то расходились, как петухи, налетающие друг на друга.

— За мои горшки, за мою невестку вот тебе! — сказала Кайдашиха и поднесла Палажке кукиш прямо под нос, так что та даже голову запрокинула.

— А вот тебе! — Палажка свернула два кукиша и, повертев один вокруг другого, сунула их прямо в нос Кайдашихе.

Кайдаш увидел, что это не шутки, толкнул одну бабу в одну сторону, а вторую в другую.

— Ишь какая пани! Проше да проше, пани экономша! — передразнила Палажка Кайдашиху. — Это ты по-панскому дули тычешь; нечего сказать, вежливо!

— Не твое дело, по-пански или не по-пански! Одевайся да пойдем в волость, вот что! — орала Кайдашиха.

— И пойду! Думаешь, тебя испугаюсь? И пойду. Но сначала ступай надень желтые сапоги и красное монисто, пани экономша, если хочешь идти со мной судиться в волость.

— Да, и желтые и красные сапоги надену, а тебя все-таки в тюрьму посажу! — кричала Кайдашиха и вертелась на одном месте, будто казачка отплясывала.

Кайдаш и Лаврин тоже вмешались в бабью ссору, кричали во все горло, спорили вместе с бабами и подняли такой гвалт, что люди повыбегали из хат. Па-

раска опять вернулась, оперлась руками о ворота и зло улыбалась своими серыми глазами.

Кайдаши все же потащили бабу Палажку в волость. Параска пошла следом за ними, поодаль, не упуская их из виду. Палажка, будто чувствовала ее у себя за спиной, обернулась и, схватив комок земли, швырнула им в Параску.

— В своего отца бросай, безумная! — крикнула издали Параска.

— На вот, тю, тю! На, серая! — крикнула Палажка и опять швырнула ком земли в Параску.

— Отнеси-ка это своему мужу да дочери на закуску! — закричала Параска и все же продолжала идти за Кайдашами в волость.

Кайдаши вместе с Палажкой пришли в волость. Волостной расспросил их о деле, выругал Палажку, но не присудил ей идти в Киев разыскивать Мелашку. Он сказал, что Мелашка не маленькая, а ежели осталась в Киеве, так, значит, у нее были на то свои соображения.

Палажка, выйдя вместе с Кайдашами из волости, ткнула кукиш в глаза Кайдашам и пошла домой. Лаврин опустил глаза, наклонил голову и крикнул Палажке:

— Если не найду Мелашку, так я вас, баба, убью или повешу!

— Лучше свою мать повесь на балке, да еще и наряди ее в красные сапожки! — ответила Палажка и помчалась домой. Позади нее плелась Параска. Ее серые глаза погасли: Палажку в холодную не посадили.

Лаврину самому пришлось идти в Киев разыскивать Мелашку. Он ходил по селу и спрашивал женщин, которые вместе с Мелашкой были в Киеве. Все они говорили о том, что Мелашка оставила их возле той церкви, что стоит подле самой Андреевской горы, на Подоле, а как называлась она, ни одна молодуха не знала. На Подоле под горой стоит не одна церковь.

Лаврин все думал, что Мелашка вот-вот придет домой, но она не приходила. Из Киева возвращались богомольцы и рассказывали много всяких небылиц. Одна старуха рассказывала, что сама слышала от

людей, а те говорили, будто собственными глазами видели, как в Лавре ходил какой-то человек, у которого руки приросли к косам матери. Так тот сын с матерью и ходят по всем киевским церквам, монастырям и молят господа, чтобы он простил их грех. Другая старуха принесла из Киева весть о том, что какая-то молодая женщина заходила в Лавру, в пещеры, и кричала не своим голосом. Люди говорили, что ее проклял отец, прокляла мать, проклял весь род, и она с тех пор ходит из монастыря в монастырь в одной рубашке, простоволосая, бледная как смерть, ничего не ест, не пьет, не говорит и все умоляет бога журавлиным и совиным голосом, а то мяукает, как кошка, мычит, как корова. Все семейство Кайдашей стояло вокруг старухи, склонив головы, и лишь тяжело вздыхало. Кайдашихе показалось, что эта молодуха и есть Мелашка. Она боялась, что ее проклятие, как злой рок, поразило Мелашку, и, почувствовав в этом свою вину, только молча плакала.

Спустя несколько дней через Семигоры шли из Киева люди и рассказывали, что возле Киева в бору нашли убитую девушку. Этот слух разнесся по всему селу. Баба Параска принесла эту весть Кайдашам. Кайдашиха очень расстроилась. Ее сердце смягчилось, и она стала сожалеть о том, что нехорошо обходилась со своей невесткой.

Тем временем слух о Мелашке прошел по ближайшим селам и дошел до Биевиц. Там всюду говорили о сыне, руки которого приросли к косам матери, о молодой, проклятой родом, об убийстве женщины в бору. Отец и мать Мелашки побежали в Семигоры к Кайдашам. Они узнали, что их Мелашка в самом деле пропала где-то в Киеве.

Бедная Балашиха голосила; и Балаш плакал; Кайдашиха рыдала, ибо чувствовала свою вину; Лаврин стоял у порога и тоже плакал. Карпо с Мотрей, забыв о ссоре с матерью, вошли в хату и грустно смотрели, подперев головы руками. В хате творилось такое, будто на лавке уже лежала мертвая Мелашка и вся родня собралась на ее похороны.

— Боже мой милостивый! — причитала мать Мелашки. — Если бы Мелашка умерла дома, не было бы ее так жаль; я знала бы, что она умерла: я бы ее

оплакала по-людски, а то, может, ее тело звери разметали по лесу. А все, сватья, из-за вас. Не один раз Мелашка приходила ко мне и горько плакала.

Кайдашиха вытирала рукавом слезы и переживала не меньше Балашихи. Неожиданное горе свалилось на нее, как камень с неба. Долго еще плакали и горевали Кайдаши и Балаши. Кайдашиха, Балашиха и Лаврин решили идти в Киев разыскивать Мелашку. Балашиха вернулась на часок в Биевцы, чтобы взять одежду и харчи, и в тот же день они втроем направились в Киев.

Мелашка в это время служила у просвирни в Киеве. Она прожила первую неделю тихо, спокойно, как у Христа за пазухой. После тяжелой работы в доме свекрови работа у просвирни казалась не трудной. Харчи были хорошие. Просвирня была женщина добрая, не бранила Мелашку с утра до вечера, как свекровь. Первую неделю Мелашка отдыхала. Но после проводов, на второй неделе, Мелашка начала скучать по Лаврину. Она выделявала просвиры, а мысли ее витали возле милого в Семигорах. Вот ей кажется, что она стоит с Лаврином в саду под черешней, разговаривает с ним, смотрит ему в глаза. Лаврин упрекает Мелашку: ведь он любил ее, как свою душу, жалел ее, как мать жалеет дитя, а она покинула его. Вот она замечает, как на его синих глазах выступили слезы и потекли по румяным щекам на траву.

Мелашка вдруг заплакала так, что слезы у нее из глаз полились рекой на стол. Она едва успела перехватить их рукавом.

— Чего это ты, Мелашка, плачешь? — спросила просвирня. — Жаль тебе села, матери или мужа?

— Не жаль мне ни села, ни рода, жаль мне только мужа. Наверное, он по мне очень убивается, если вдруг так залило мою душу слезами.

— Тогда вернись домой, если тебе его жалко, — говорила просвирня.

— Нет, не вернусь, матушка, ибо как только вспомню о свекре и свекрови, то мне кажется, что я попаду в ад. Если бы мне удалось вызвать Лаврина сюда, я бы до смерти не вернулась в Семигоры, — серьезно промолвила Мелашка.

Она посадила в печь просвиры, вышла во двор и стала у ворот, которые выходили на кладбище: от ворот были видны высокие колонны церкви с широкими железными ступеньками. На ступеньках сидели и стояли богомольцы. В церкви служили вечерню. Мелашка обвела глазами богомольцев и увидела семигорских молодух. Она так обрадовалась, что вскрикнула и хотела подбежать к ним и расспросить о Лаврине, но опомнилась и отступила за ворота. Она смотрела на односельчан, и ей казалось, будто видит среди них Лаврина и родную мать.

Вечерня окончилась. Люди разошлись; ушли с кладбища и семигорские молодухи. Мелашка следила за ними до тех пор, пока они не скрылись за железной решеткой. Молодицы обернулись и заметили ее, но она так быстро отскочила за ворота, что им показалось, будто они увидели привидение, похожее на Мелашку.

Темнело. Мелашка вышла на кладбище, стала под липой и сложила руки. Она все думала о Лаврине, о том, как он тоскует, как плачет по ней, и у нее из глаз текли слезы.

На кладбище было тихо, как в погребе. Лишь тополь и липы млели в теплом воздухе да Мелашке будто снился семигорский сад; за садом повыше на горе семигорская церковь, а возле нее пруд; в сад к ней выходит Лаврин и берет ее за руку.

— Боже мой, прими душу мою в свою обитель, — говорила бедная молодича, — легче мне камни таскать, чем такое горе сносить. Полетела бы я над борами, над степями и хоть раз бы взглянула на своего милото. Грех мне за то, что я мучаю его и себя!

Над кладбищем нависла Андреевская гора с высокой острой вершиной, на верху которой торчала Андреевская церковь — будто повисла в чистом темно-синем небе, блестящем на западе. Легкие облака плыли по небу. Мелашка загляделась на гору, на церковь; ей казалось, что это не облака несутся по небу, а тонкие, созданные из одних колонн, боковые купола на церкви зашевелились, и даже сама церковь задвигалась на остром шпиле горы. На Мелашку напал страх. Она глянула на гору, и ей показалось, что на церкви кресты трясутся и колышутся, а

вся гора колеблется и вот-вот упадет на нее. И она стремительно побежала домой.

Просвирия усадила Мелашку ужинать, но та даже к ложке не притронулась. А легла спать— и сон ее не брал. Тоска и печаль давили на сердце, как тяжелая гора. Едва она уснула, как вдруг ей привиделось, что она гуляет с Лаврином в зеленой биевской роще, идет по пояс в траве и цветах; потом вышла с ним на шлях и пошла между двух стен зеленой ржи, пришла к мельнице и уселась с ним на скале над Росью, обняла и приласкала его. Вдруг посмотрела она на Рось и увидела, что Лаврин плывет, тонет посреди реки. Быстрое течение относит его в сторону. Лаврин то погрузится в воду с головой, то опять вынырнет и машет ей рукой. Она хочет броситься в воду, спасти его, но ее ноги будто приросли к скале и пустили в нее корни, как верба. Вода бурлит, шумит и несет Лаврина все дальше к острым скалам, где еще сильнее ревет и стонет, как весной. Мелашке хотелось закричать, но вместо крика раздался лишь шепот, как шелест листьев. А где-то за Росью, в Семигорах, колокол печально бил тревогу да тихий месяц плыл над пенистой водой, над дубравой.

Мелашка проснулась. На колокольне звонили к заутрене. Она вскочила с постели и перекрестилась. Наступал уже рассвет.

«Боже мой! Да ведь это он по мне убивается! Я взяла на свою душу большой грех», — думала Мелашка.

Прошла вторая неделя. Мелашка понемногу начала привыкать к новому месту: пекла просвиры, ходила в церковь, в монастыри и уже сама толком не знала, вернуться ли ей домой или остаться в Киеве.

А в это время мать Мелашки с Лаврином и Кайдашихой шли в Киев; встречая по дороге многих богомольцев, все расспрашивали их, не видали ли они молодичу, которая отбилась от своих, не слышали ли чего-нибудь о ней от молящихся в Киеве. Они вошли в огромный бор под Киевом и сразу все трое заплакали, да все глядели на дорогу среди сосен: им казалось, что Мелашка лежит убитая где-то в этом бору. Тихо и жалобно гудели, словно пчелы в

огромной пасеке, деревья в бору и только еще больше нагоняли на них тоску.

Добрались они до Киева, зашли в Лавру. Около Лавры торопливо двигались богомольцы, пришедшие сюда со всех концов земли. А они втроем ходили, расспрашивали, не слыхал ли кто, не видел ли чернявой молодежи, не разыскивала ли она, не спрашивала ли о своих людях. Богомольцы рассказывали, что недавно одна женщина отбилась от своих людей и разыскивала их в пещерах, но она была белявая и уже в годах.

Пошли они втроем искать на Подоле церковь, что стояла под самой Андреевской горой, но таких церквей там было много. Они ходили, расспрашивали людей и пришли на кладбище, где жила Мелашка.

У колонн возле церкви Лаврин с матерью уселись на ступеньках.

Просвирня сидела на самой нижней ступеньке и продавала просвиры. В это время Мелашка, выйдя из кухни, хотела бежать к просвирне и спросить ее о чем-то. Она выглянула из ворот и стала разглядывать богомольцев. Обвела глазами ступеньки, но никого из знакомых не увидела. Около церковной двери люди слонялись, как пчелы возле улья. Вдруг глядь — возле самой просвирни сидит молодой мужчина, точно такой, как Лаврин. Он сидел к ней боком. Мелашка узнала светлую кудрявую голову Лаврина, его гладкий лоб, прямой тонкий нос. Но почему он такой бледный, такой печальный?

«Лаврин это или нет? — подумала она. — Куда же исчез румянец с его лица? Почему он такой бледный, как смерть, измученный и слабый?»

Вечернее солнце освещало высокие белые колонны и людей, которые, точно мухи, сновали в его отражении. По лицу Лаврина скользнул луч солнца.

«Это он!» — сказала про себя Мелашка и схватилась за сердце. У нее закружилась голова; она вскрикнула и чуть не упала на землю.

— Ведь это же моя мать! — шептала Мелашка, увидев Балашиху возле огромной белой колонны. — А вон там моя свекровь...

Мелашку будто кто облил ледяной водой. Она отпрянула за ворота и с минуту не знала, бежать ли

к ним или удирать в кухню. Но Лаврин повернулся к ней лицом. Мелашка глянула на его ясные глаза, зарыдала, как дитя, и, как стояла в одной сорочке, расталкивая людей, стрелой бросилась прямо к нему.

Лаврин, увидев Мелашку, только посмотрел на нее печально и укоризненно.

Она бросилась к нему и зарыдала на все кладбище.

Мать и свекровь, увидев Мелашку, с плачем обступили ее.

Люди окружили их.

— Ох, боже мой!.. Зачем ты, дочь, нас так измучила! — заговорила первой мать Мелашки. — Знаешь ли ты, как тяжело было нам?..

— Мы думали, что тебя уже и на свете нет, — говорил Лаврин. — Мы тебя уже оплакали, как умершую.

Мелашка стояла да только всхлипывала, как всхлипывают маленькие дети. Она даже слова не могла вымолвить. И слезы, и обида, и радость так сдавили ей грудь, что она едва переводила дух.

— Где же ты, дочка, тут живешь? — спросила сквозь слезы Мелашку свекровь.

— Да вот здесь служу у добрых людей, работаю у матушки наймичкой, — через силу промолвила Мелашка, показывая рукой на просвирню.

— Это, Мелашка, за тобой, наверное, пришли родственники? — спросила просвирня. — Жаль мне тебя! У меня еще не было такой доброй и трудолюбивой наймички, как ты.

— Мы, матушка, заберем Мелашку с собой, — отозвалась мать. — Господи, как она измучила нас, пока мы ее нашли. Слава тебе, господи, что все же отыскали ее.

Вокруг суетились люди, шумели, расспрашивали. Любознательные молодницы окружили Мелашку, ее мать и свекровь. Просвирня пригласила родных Мелашки к себе в дом.

— Возвращайся, доченька, домой, никто тебе плохого слова не скажет, — сыпала свекровь ласковыми словами.

— Да уж вернусь, никуда не денусь. Если бы вы не отыскили меня, так я, наверное, сама и не вернулась бы домой.



На следующий день Мелашка с родными вышла из Киева. Через бор все шли печальные и угрюмые. А бор от малейшего ветерка гудел, как море в непогоду, и наводил еще большую тоску.

Мелашка пришла домой, и свекровь сдержала свое слово: с той поры она словно облила Мелашку сладким медом, а полынь словно бы спрятала куда-

то в чулан для Мотри. Кайдашиха боялась, как бы Мелашка опять не удрала в Бессарабию или за границу. Слезы и неожиданная тревога помирили семью, как всех мирящая смерть.

Вернувшись домой, Кайдашиха поехала в Богуслав на ярмарку, купила Мелашке на юбку и на передник, купила большой хороший платок и новый желтый с красными цветами очипок. Через две недели Мелашка разрешилась от бремени: она родила сына.

VII

В хате Кайдаша стало тихо: свекровь помирилась с невесткой. Но во дворе между двумя хозяевами, старым и молодым, начались нелады. Лаврин считал себя уже хозяином. Он был младшим сыном, и все отцовское добро, по украинским обычаям, доставалось ему. Лаврин знал, что отцовская хата, отцовские волы и возы, все отцовское добро — это теперь его добро. Он перестал слушаться отца, которому хотелось еще самому распоряжаться в хозяйстве. Кайдаш постарел и стал все чаще и чаще заглядывать в корчму, запивая давнишнее крепостное горе. Все деньги, которые зарабатывал у помещика и у людей, мастера им плуги, возы, бороны, он пропивал.

Он не давал денег Лаврину, которому стало тяжело покоряться раздражительному и сварливому отцу.

В петровки началась косовица, к этому же времени дозревал и ранний ячмень — рихоль.

Еще с вечера старый Кайдаш велел жене и Мелашке сгребать сено, а Лаврину косить ячмень.

На следующий день Мелашка взяла на руки ребенка, к спине прикрепила колыбель и треногу к ней; Кайдашиха же взяла грабли, тыкву с водой, и все они отправились в поле.

Старый Кайдаш сидел в повети и мастерил. Вдруг он увидел, что коса лежит на завалинке, а Лаврин посреди двора запрягает волов.

— Почему ты, Лаврин, не идешь в поле? Разве ты не видишь, что солнце вот уже к полдню

клонится? — спросил Кайдаш. — Для чего ты запрягаешь волов?

— Поеду на мельницу. Мать говорила, что муки нет, — отозвался Лаврин, поворачивая волов к возу.

— А я ведь тебе велел ячмень косить.

— Постоит до завтра, никуда не денется, не убежит.

— Ты ведь знаешь, что ячмень вполне созрел: вот-вот осыпаться начнет.

— Ячмень еще не совсем зрелый, денька два, а то и три постоит, — ответил Лаврин. — Эй, перистый, становись! — закричал он на вола.

— Иди в поле косить, говорю я тебе! Если надо будет поехать на мельницу, так я сам поеду.

— И я дорогу найду. Идите, батя, в поветь и чините там повозку.

Сын уже не слушал отца.

Старый Кайдаш плюнул и ушел в поветь, а Лаврин стал запрягать волов.

«Меня сынки скоро на печь загонят», — думал старый Кайдаш, работая в повети.

На второй день Лаврин взял косу и вместе с Мелашкой и матерью пошел косить ячмень. Отец молчал да только посматривал на Лаврина.

— Так это ты, не спрашивая меня, идешь в поле? — спросил отец Лаврина.

— А разве Карпо спрашивает вас, когда идет в поле? Чем я хуже его? — ответил Лаврин, положив косу и свясло на плечи.

— А если надо будет платить подушное да за землю, так и тогда меня не спросишь? — промолвил Кайдаш.

— Раз вы деньги берете в свои руки, так и платите. Давайте мне деньги, тогда я буду платить, — ответил Лаврин.

— Может, ты хочешь, чтобы я тебе выделил твою часть поля, как Карпу?

— Зачем? Ваша часть — моя часть, сегодня вы хозяин, а завтра я, — ответил Лаврин.

— Хорошо же ты чтишь старого отца! Покарает тебя господь, а если не тебя, так твоих детей, — промолвил отец.

— Не спрашивай у старого, а спрашивай у бывалого, — ответил Лаврин. — Вы и без господ карали Мотрю, карали уже и Мелашку; достаточно нам и этой кары.

С тех пор Лаврин прибрал к своим рукам все хозяйство. Отцу приходилось молчать, и он редко вмешивался в хозяйственные дела. Он больше мастерил, зарабатывал деньги, постился по пятницам и с горя чуть не каждый день приходил из корчмы пьяным. Голова у него поседела, даже побелела, только брови чернели на широком бледном лице да блестели темные глаза, глубоко запавшие под бровями.

Однажды на спас старей Кайдаш в субботу пошел в церковь к вечерне. Солнце стояло над лесом. Церковь была пустая. В притворе стояла одна-единственная старуха. Кайдаш опустился на колени и бил поклоны. Дьячок пел жалобную церковную песню. Вдруг Кайдаш слышит, что кто-то подтягивает дьячку тоненьким голоском. Голос как серебро звенел откуда-то сверху. Он поднял глаза и поглядел на иконостас. Вверху на иконостасе стоял большой золотой крест с терновым венком на перекрестье, а по сторонам около него стояли на коленях два позолоченных ангела. Кайдаш поглядел на ангелов, а они, открыв рты, пели тоненькими голосами вместе с дьячком. Кайдаш встревожился и отвел глаза от этого дива. Затем он посмотрел на приходские иконы, — и они тоже поют, а вместе с ними поют все иконы в церкви... Кайдаш перепугался и встал на ноги. Слушает он и удивляется. Оглянулся во все стороны, а и правда — все иконы поют. Посмотрел он на образ Варвары. Она тоже зашевелила пальцами, повела глазами; ее наряд задвигался. На образе Прасковьи Пятницы — с распущенными по плечам роскошными волосами, с цветами на голове, — вдруг цветы тоже зашевелились, как от ветра. Прасковья Пятница, словно живая, повернула к нему свои глаза.

Кайдаша охватил ужас, и он вышел из церкви. В притворе на стене висела огромная картина Страшного суда. Кайдаш посмотрел на нее искоса; на картине снизу, в аду, была нарисована огромная лошадиная голова с белыми острыми зубами; эта голова тоже улыбнулась ему. Пламя во рту ее заколебалось,

как пламя свечи от ветра. Небольшие фигуры грешников и чертей зашевелились, как муравьи. Маленькие хвостатые и рогатые чертики стали показывать ему свои языки.

Кайдаш перепугался, отвел глаза от страшной картины и вышел на улицу. Он сел на ступеньках, склонил голову. На улице было тихо, как в доме ночью. Солнце стояло низко над лесом и своими лучами пронизывало вершины деревьев. Над лесом от солнца, казалось, простирались длинные тропинки и ленты, вытканые из света и золота. На западе на чистом небе стояло единственное облачко, все золотое, с красными краями.

Печальное, бледное лицо Кайдаша, освещенное розовым светом, было похоже на лицо мертвеца. Он поднял свои покрасневшие глаза, посмотрел на лес, и ему показалось, что над самым гребнем деревьев на облачке стоял человек, прозрачный, как туман, и помахивал ему рукой, словно зывал к себе.

Кайдаш встал со ступенек и пошел с горы. Он сошел вниз, потом пошел по шляху, а видение на облачке отодвинулось от него еще дальше, за лес. Он вышел на гору за село. С горы была видна широкая долина, окруженная холмами, покрытыми лесом; в долине блестела Рось.

Сам не зная зачем, Кайдаш пошел на плотину. На мельнице колеса вертелись, вода шумела, и сильный гул разносился по долине. Возле мельницы стояли возы, слонялись люди. Мимо Кайдаша проехал на возу мужик, а затем на лихих конях пролетел какой-то барин, чуть не зацепив его колесом.

Кайдаш попятился на край плотины и едва не свалился в воду. Он напряг свои силы, отскочил в сторону и опомнился...

«Боже мой! Где это я? Чего это я? Чего это я зашел на плотину? Может быть, мне надо на мельницу или в Биевку?» — спрашивал сам себя Кайдаш. Он вспоминал, вспоминал и, ничего не припомнив, вернулся в Семигоры и лишь тогда вспомнил, что он был в церкви и там с ним творилось что-то странное.

Кайдаш только в сумерки вернулся домой. Семья уже поужинала и улеглась спать. Он подошел к двери хаты и хотел постучать. Но вдруг увидел, как из-за угла бросился к нему огромный пес, словно откорм-

ленный боров, с лошадиной головой, с рогами, и засверкал страшными глазами. Он попятился и замахал на него руками. Присмотрелся, а это ласкается к нему серый Барбос.

Кайдаш вошел в хату. Кайдашиха зажгла лампу. Она думала, что муж был в корчме и сейчас начнет чудить. А Кайдаш, бледный как смерть, сел в конце стола и задумался.

«Боже мой! Что это со мной творилось? — думал Кайдаш. — Или бог карает меня за грехи, или проявляет свою милость за правду?»

— Где ты шатаешься? Почему ты пожелтел, как воск? — спрашивала его жена.

Кайдаш махнул рукой, постелил себе на лавке и лег спать. На следующий день, в воскресенье, Кайдаш ходил печальный и задумчивый. В понедельник он вышел в поле косить, но тоска давила его, как камень. Возвращаясь с поля, он разговорился с людьми возле корчмы, зашел с ними туда и выпил полкварти водки. Идя домой по плотине, усаженной вербами, он посмотрел на воду, вдруг из-под плотины выскочил черненький хлопчик с маленькими рожками, с огромной головой и побежал за ним следом. Кайдаш ускорил шаг, а черный хлопчик бежит за ним да все приговаривает: топ, топ, топ! Кайдаш обернулся и замахнулся на хлопца косой. Хлопчик как сквозь землю провалился. Кайдаш пошел через мост, глядит, а хлопчик опять бежит за ним да все приговаривает: топ, топ! Кайдаш шел по тропинке вдоль пруда; а с берега целыми сотнями прыгали маленькие, как лягушки, чертики, ныряли и опять появлялись и дразнили его своими языками.

Кайдаш пришел домой. Войдя во двор, посмотрел в тот угол, где росли густые колючки, а там вместо колючек уже растут маленькие чертики с рожками, похожими на гвозди. Кайдаш взмахнул косой, и ему показалось, что те чертики легли, как на покосе, только ножками дрыгают. Выкосив все колючки, он посмотрел на улицу, но там вместо крапивы да лопухов, оказалось, растут те же чертики. Кайдаш взялся косить крапиву. Из хаты вышли сыновья и невестки. Карпо крикнул отцу:

— Батя, что вы делаете? Дела у вас нет, что косите крапиву на улице?



— Да, крапиву! Хорошая крапива! Разве ты не видишь, сколько выросло этих чертей, побей их сила божья. Вот я вас, проклятых, всех выкошу!

Сыновья и невестки увидели, что отец пьяненький, и начали подсмеиваться над ним. Кайдашиха тоже вышла из хаты и стала ругать его.

В это время с пастбища шла череда. Кайдашу показалось, что на каждой свинье сидит верхом черт. Длинные хвосты волочились по земле. Черти толкали свиней в бока ногами и погоняли их пестиками да кочергами. Свиньи лягались, словно резиновые кони, а черти прыгали на них и махали руками.

— Жена! Разве ты не видишь, кто это едет верхом на свиньях? — крикнул Кайдаш жене.

— Опомнись, пьяница! Ты совсем обалдел или с ума спятил! Уже опять водки нализался.

— Да, обалдел! Такое еще скажешь! Черти вон едут верхом на свиньях! Да бей вас сила божья! Дух святой с нами в доме! А вон, гляди, на барском бугае сидит какой пузатый, лупоглазый, рогатый! Такого пучеглазого да пузатого я и среди панов не видел. А чтоб вы треснули! А вон, гляди, между овцами сколько их вертится.

— Да иди ты в хату ужинать! — крикнула Кайдашиха. — И протри свои пьяные зенки!

Кайдаш вошел в хату. На печке мигала и больше чадила, чем светила, лампа без стекла. Посмотрел Кайдаш на стол: в красном углу сидит чумака, с которым он встречался в Крыму, когда еще парубком с отцом чумаковал. Рядом с чумаком сидит покойный отец Кайдаша и будто разговаривает с ним. Кайдаш пригляделся к ним, узнал чумака, отца, сам сел в конце стола и стал разговаривать с ними.

В хате все встревожились. Всем было не до смеха. Кайдашиха даже перестала браниться.

— Омелько, встань да помолись богу! Что с тобой творится?

— А разве ты не видишь, что мой отец пришел ко мне в гости, да еще и с херсонским чумаком, — ответил Кайдаш.

Женщины перепугались. Мелашка побежала к соседям и стала приглашать их к себе в дом. Люди пришли и начали уговаривать Кайдаша, чтобы он, помолвившись богу, лег спать. Кайдаш стал перед иконами и начал громко молиться, как молятся малые дети. Кайдашиха перекрестила пожом окна и дверь, достала бутылочку святой воды и дала из нее Кайдашу выпить.

Мотря побежала за бабкой Палажкой. Она была знахаркой на селе. Кайдашиха в этот момент забыла о перебранке и тяжбе с Палажкой.

Открылась дверь; из темных сеней медленно, степенно вошла в хату бабка Палажка, одетая в белую суконную кофту, повязанная черным платком. Она так загорела в жатву, что ее лицо на фоне белой кофты казалось вымазанным сажей. Ее маленькие черные глаза блестели, как огонь,

«Черная, как черт, — подумала о ней Кайдашиха, — еще перепугает моего мужика».

Бабка Палажка, перешагнув порог, тотчас стала креститься и шептать. Она вошла в комнату, как входит поп с молитвой.

— Смотри-ка! У Палажки на голове рога, как у черта! — сказал Кайдаш.

— Иду я, раба божья Палажка, к рабу божьему Омельку все горе выгонять с его жил, с его желтых костей, с его красной крови, с семидесяти суставов, с его седых волос, с его головы, с его булавы, с его глаз, с его плеч. Да изыдите вы на те болота, к тому камышу, где глас божий не взывает, где человек не бывает.

Кайдаш стал посреди хаты и громко молился. Все вышли из хаты, с Кайдашом остались только Палажка и Кайдашиха.

Баба Палажка налила из кувшина в миску воды, влила туда же из бутылки святой воды, бросила уголек и кусочек глины от печки, взяла в руки веретено, окунула его в воду и черкнула им крест-накрест по краям миски; потом взяла нож, окунула его в воду и снова черкнула им по миске... И все нашептывала:

— Как пошла я вдоль камыша да по болоту да взошла на высокий курган: ох, на том кургане, на Осиянской горе, да стоит церковка, запертая баранкой, медовым пряником. Надкушу я медовик, надкушу я баранку, да войду я в церковку. Святая святица, небесная царица! Пятница — моя матушка, а ты, святой понедельник, божий ключничек! Мокрина, Марина, Агапитка, Алипия, Иван, Демьян и ты, Николай, Мирликийский чудотворец! Помяни, господи, раба божьего Омелька да те книжки, что в церкви читают: ермолой, бермолой, савгирь и еще ту, что телятиной обшита.

Радуйся, Оримий и Пархимий и ты, невесточка, святая Покровушка, что в Лавре замурована. Наберу я в черепок фу-фуда вылью ее на раба божьего Омелька. Помилуй же его, господи, да тряхни ты его по бокам, по ребрам, по косточкам, по лемешам, по скотине его. Крест на мне, крест на спине, вся в крестах, аки овечка в репьях. Помилуй его, бескостный Марк, сухой Никон, мокрый Николай! Сарандара, Марандара, аспид угас, василиска попёр! Аминь бежит, аминь кричит, аминь нагоняет!

Бабка Палажка трижды подула на воду и дала попить Кайдашу. Потом она вызвала Кайдашиху в сени и приказала ей утопить в водке небольшого щенка, потом в пей мочить три дня селедку и дать это зелье выпить Кайдашу на похмелье. Кайдашиха вытащила из сундука большой кусок полотна да еще копу денег и дала Палажке за труд.

Кайдашиха сделала все, что велела Палажка. Кайдаш, ничего об этом не зная, выпил знахарской водки, а потом пил три дня подряд. Кайдашиха только рукой на него махнула и послала его к попу. Кайдаш рассказал ему о своем горе, заказал молебен Иисусу и акафист богородице, ходил говеть в Богуславский монастырь. В ту пору он не пил водки, и черти не являлись к нему.

— Это смерть пришла, коль явился мне мой покойный батюшка, — говорил Кайдаш.

— Да не смерть пришла. Это, батя, вы сами себя губите пьянством, — ответил Лаврин.

С той поры Лаврин прибрал к рукам и волов, и повозки, и все хозяйство. Загнали дети отца на печь отдыхать.

Терпел Кайдаш, терпел да не выдержал: опять стал заходить в корчму.

— Был я когда-то Кайдаш, а теперь превратился в маленького Кайдашонка, — говорил он в корчме за чаркой водки.

Однажды в лунную ночь Кайдаш спал на полатах. Вдруг слышит: дверь заскрипела, и в хату вошел его старый знакомый — херсонский чумака. Кайдаш поднялся и стал разговаривать с чумаком. Поговорив в хате, Кайдаш вышел на улицу и пошел с ним за ворота. Вот они вышли на улицу и пошли вроде бы к корчме, но

перешли уже через плотину, миновали село, а корчмы все не было. Идут они дорогой и все разговаривают. Вот уже сошли с горы, подошли к Роси, перешли по плотине через реку, но корчмы все не было. Смотрят — перед ними лес. Луна светит в поле, а в лесу густая тень. Кайдаш пошел в заросли и потерял дорогу. Глядит он, а чумака нет, вокруг него лишь толстые дубы и липы. Сверху сквозь ветки пробивается свет луны, и кое-где ее лучи блестят на земле, как яркие желтые платки, разостланные по траве, или как золотые яблоки, разбросанные по земле. Кайдаш посмотрел вниз, — перед ним росла куча больших и высоких, почти до колен, грибов со сверкающими, как огонь, шляпками. Куча грибов зашевелилась, из-под нее выскочили маленькие зайчики и начали прыгать один через другого и смеяться, как малые дети. А над ними поднялся роскошный куст папоротника и расцвел сверкающими искорками. Цветы рассыпались, как искры в печи, а потом из куста вырос большой, с миску, цветок, весь сотканый из золота и огня, с красным пламенем в середине. Из цветка вылетела огненная птица и порхнула на дерево. Кайдаш поднял голову, ударился лбом о дуб и... пришел в себя.

— Боже мой, где я? — спрашивал сам себя Кайдаш.

Он стоял в одной рубашке посреди густого леса. Над кронами деревьев сияла полная луна. Толстые стволы лип и дубов едва мерцали вокруг него, а белые березы блестели, как белые восковые свечи. Кайдаш оглянулся назад и увидел между деревьями поле, залитое лунным светом. Место ему было совсем незнакомое. Он по дороге спустился с горы и подошел к Роси. Колеса мельницы зашумели и привлекли его внимание. Кайдаш подошел к мельнице и только тогда окончательно опомнился, сообразил, куда пришел.

Его охватил страх. Ему показалось, что его водит нечистая сила. Его спину словно обсыпало горячей золой, волосы на голове встали дыбом. Но он подошел к мельнице и увидел там людей; люди ходили, разговаривали, складывали мешки на возы. Кайдаш повеселел. Один мужик поехал через плотину. Кайдаш пошел следом за его возом, разговорился с мужиком и с ним дошел до самого села.

Была уже полночь, когда Кайдаш пришел домой и разбудил всех в доме. Мелашка зажгла лампу, посмотрела на Кайдаша и испугалась: старик был желтый, как воск, глаза у него блестели и горели, как свечи.

— Где ты ходишь, где ты бродишь? — начала кричать Кайдашиха на мужа. Она думала, что он до полуночи был в корчме.

— Да, бродишь... Хорошая прогулка... Не сам я хожу, а меня водит, — промолвил через силу Кайдаш, положив голову на руки. — Завела меня нечистая сила прямо в Богуславский лес.

Кайдашиха все же не верила ему: она думала, что он пьян. Кайдаш поднял глаза, посмотрел на печку, потом на запечь, где был лаз на печь. Вдруг Кайдашу показалось, что оттуда выскочил чертик, величиной с кошку и спрятался в печи. Не успел Кайдаш отвести взор, как из подпечья выскочили еще два черта, показали ему языки и спрятались. Кайдаша охватила злость; он схватил пест, бросился к печи да так хватил им по печке, что от нее отвалились куски глины и посыпались на пол.

— Омелько! Да ты одурел или рехнулся? — крикнула Кайдашиха.

— Да, одурел!.. А ты разве не видишь, как черти выскакивают из печи?

— Свят, свят, свят! Перекрестись! Откуда тут взяты чертям? — промолвила Кайдашиха. — Напьет-ся в корчме до чертиков, а потом дурака валяет.

Кайдаш отвернулся от печи и посмотрел под стол, а там, как ему показалось, лежал огромный, словно боров, косматый черт, со страшной черной мордой, с рогами, ртом до ушей и с белыми огромными зубами. Кайдаш испугался и сел на скамью. Он взглянул на полати и на скамью, но там тоже сидели рядышком большие черти и, как волки, шелкали на него зубами. Каждый из них держал во рту по раскаленному углю: их раскаленные зубы горели, зубастые пасти были красными. Один черт указывал ему на топор под лавкой и шептал: «Возьми топор, заруби себя». Второй, показывая на веревку под скамьей, шептал: «Ступай на гумно и повесься!..» Третий показывал: «Пойди к пруду и утопись!»

— Жена! Разве ты не видишь, сколько чертей сидит на скамье? — спрашивал Кайдаш, а сам дрожал, даже зубами щелкал.

— Господи милосердный, ты только пугаешь нас, — говорила Кайдашиха.

Мелашка стояла возле печи ни жива ни мертва. Лаврин поднялся с постели.

— Выведите меня во двор! А то чертей собралась уже полная хата, и между ними большущие мухи летают да черные вороны шугают, — сказал Кайдаш.

Лаврин, взяв отца за руку, вывел его во двор. Мелашка испугалась и выбежала следом за ними. У Кайдашихи ноги дрожали от испуга. Она достала святой воды, окропила хату, зажгла страстную свечу и поставила ее перед иконами.

Кайдаш немного освежился на улице. Лаврин привел его в хату. Чудища куда-то исчезли.

— Нужно мне исповедаться, — сказал Кайдаш. — Это, наверное, смерть моя наступает.

Кайдашиха и Лаврин с трудом уговорили Кайдаша лечь в постель. Только он хотел прилечь, как ему показалось, что по постели ползают огромные раки и черные пауки. Проворные пауки, величиной с гусенка, набросились на него, как собаки. Он поднялся и стал отряхивать на себе одежду.

— И откуда взялась эта нечисть на полатях, — кричал Кайдаш, отряхивая рубаху. — Лаврин!.. Возьми веник да вымети эту гадость.

Лаврин взял веник и сделал вид, что смел что-то с постели. Тогда Кайдаш снова лег на постель и уснул.

На следующий день Кайдаш пошел к священнику, исповедался у него, но и это ему не помогло. Херсонский чумак зачастил к нему, приходил ночью и все как будто водил Кайдаша по дебрям и густому лесу.

Через неделю этот чумак завел его опять на плотину. А утром обнаружили Кайдаша в реке, у самой заслонки мельничного лотка. Мельник пришел поднимать заслонку и обнаружил в воде мертвого человека. На мельнице мололи зерно семигорские люди, они и опознали Кайдаша.

Волость поставила возле утопленника сторожа. Три дня лежал под вербой Кайдаш, накрытый старой свит-

кой, покуда не приехал становой да не разрешил сыновьям взять труп отца и похоронить его.

— Постился отец двенадцать пятниц в году, чтобы не умереть от неожиданной смерти и не утонуть в воде, а все равно утонул. И пятницы не помогли, — говорил Карпо. — Стоило ли так мучить себя всю жизнь.

VIII

Сыновья похоронили Кайдаша с большим почетом, даже упросили священника разрешить занести покойника в церковь. Когда хоронили Кайдаша, Евангелие читали почти возле каждой хаты; после похорон устроили богатые поминки. Кайдашиха раздала нищим щедрую милостыню, а попу дала денег на сорокоуст.

На четвертый день после похорон отца Карпо и Лаврин начали делить отцовское добро.

— А что, Лаврин, — начал Карпо, — разделим теперь землю пополам, а то мне отец отрезал огород, словно бы украл.

— Давай поделим, — промолвил Лаврин. — Пойдем в волость или обойдемся без нее?

— А на что нужна нам эта волость! Разделим пополам огород да пополам сад, вот и все, — сказал Карпо. — Разве мы сами с этим не справимся?

— Мне все равно, будем мерить огород и сами, — промолвил Лаврин.

Карпо взял длинную и ровную палку, и они с Лаврином стали измерять огород вдоль и поперек. Измерили огород, разделили его пополам и забили на меже колышки.

— А как, Лаврин, будем ставить забор или без него обойдемся? — спросил Карпо.

— А зачем этот забор нужен? Ведь у нас возле хаты двор общий, хотя на нем стоят твой и мой сарай и хлев, — ответил Лаврин.

— По мне, пускай будет и так, — сказал Карпо.

— Однако я не знаю, что еще наши жены скажут, — сказал Лаврин, не вспоминая уже о матери.

— Разве у меня нет ума, чтобы я жену слушал, — ответил Карпо.

Только они поделили огород и сад, как из хаты выбежала Мотря. Она вышла на огород, окинула его взглядом с холма вниз и снизу на холм, потом вышла на бугор и еще раз смерила землю глазами. Участок Лаврина показался ей большим, наверное потому, что кусок хлеба в чужих руках всегда кажется больше. Она сняла с себя пояс и давай мерить огород вначале поперек: на половине Лаврина получилось больше на один пояс. Измерила вторично, — ох, беда!.. Участок Лаврина оказался больше уже на два пояса.

— Чтоб вас черт так мерил, как вы мерили, — промолвила сама себе Мотря и принялась мерить землю поясом в длину: ох, караул!.. — половина Лаврина оказалась на целый пояс длиннее, да еще и выдалась углом на улицу, в бузину.

— Погодите же! — закричала Мотря на весь огород. — Это, наверное, им свекровушка помогала мерить! Это она прибавила себе на целый пояс в длину да на два пояса поперек, и еще уголок в бузине себе заграбастала.

Мотря стремительно понеслась к хате, держа в руках пояс и вопя на весь огород. Около хаты стояла та палка, которой Карпо с Лаврином мерили огород. Мотря схватила палку и пулей бросилась к двери.

— Это вы, наверное, с матерью так огород мерили, чтоб вас черт мерил! — крикнула Мотря на пороге так, что из обеих комнат одновременно отворились двери и оттуда выскочили все: и Карпо, и Лаврин, и Кайдашиха, и Мелашка. Они вытаращили глаза на Мотрю.

— Чего зенки вытаращили, будто меня сроду не видели? Как это вы измерили огород? Да чтоб вас черти сожрали с таким разделом! — закричала Мотря не своим голосом и ударила о землю палкой так, что палка даже зажужжала.

— Жжж! — зажужжал насмешливо Лаврин. — Ты чего кричишь, словно на отца?

— Кричи на свою мать! Я и тебе зажужжу вот этой палкой, если хочешь. Как это вы мерили огород, если у Лаврина кусок земли получился больше и вдоль и поперек!

— Да у тебя, вишь, ума не занимали, обошлись без тебя, — ответил оскорбленный Лаврин.

— Ты, Мотря, не права, — спокойно промолвил Карпо, заложив руки за спину.

— Не права! Я вот только что сама мерила. Иди в волость, пускай она вас разделит, а не свекровь, — вопила Мотря.

— Отстань от меня, сатана! Да меня и дома не было, когда они мерили. Вот задира! — сказала Кайдашиха. — Берет мое добро да меня же и ругает.

— Идите-ка да вымеряйте на моих глазах, а если не пойдете, так я ваши колья на меже повытащу да выброшу к чертям за тын, а свое все-таки докажу! — кричала Мотря.

Выскочив из сеней, Мотря побежала на огород; следом за ней пошли Кайдашиха с Мелашкой, а за женами пошли и мужья. Мотря сняла свой пояс и начала им мерить огород: часть огорода Лаврина получилась в ширину больше на два пояса.

— Ну что, чья правда?

— Как ты мерить? Обдури кого-нибудь поглупее, а не меня, — крикнула Кайдашиха. — Вишь, когда свою половину измеряла, пояс натягивала так, что он даже трещал, а когда половину Лаврина мерила, то пояс даже комкался. Уйди, мерзавка! Дай я сама с Мелашкой померяю.

Кайдашиха перемерила весь огород вдоль и поперек — обе половины были равные.

— Ну что, чья правда? — говорила Кайдашиха. — Когда ты мерить для себя, то натягиваешь пояс, а для чужого мерить, так ослабляешь. Ты бы людей постыдилась! Тебе только в лавке сидеть да на аршине людей обманывать.

— Да ты какую-то бабью сажень выдумала, Мотря, которая сжимается и растягивается, как кому нужно, — насмешливо промолвил Лаврин.

— А тот угол, что врезался в бузину, какой саженью будешь мерить? Небось мне не отдашь, — ответила Мотря.

— Да откуси ты этот угол своими зубами! А что же с ним делать, если он выдался на улицу, — сказала Мелашка.

Мотря злилась из-за того, что получилось не так, как она хотела. И она привязалась к Лаврину.

— Почему вы не поделили пасеку? — спросила она. — Ведь пасека-то отцовская! Готовы все заграбастать. В саду на половине Лаврина больше на две груши и одну яблоню.

— А ты уже и подсчитала? — спросил Лаврин.

— А как же, подсчитала. Я своего не уступлю. Сад не твой, а отцовский, — ответила Мотря.

— Так пересади эти деревья на свою половину!

— Какой же черт осилит пересадить их! Пересадишь, да и надорвешься, — сказала Мотря.

— Надорвешься, Мотря, как пить дать надорвешься, если Карпо не пособит, — говорил, смеясь, Лаврин.

— Надорвусь или нет, а я все же свое докажу, — закричала Мотря и ударила кулаком о кулак. — Пошли сейчас же в волость, пускай она рассудит нас, а не ты со свекровью. Давайте-ка нам половину пасеки, а если не дадите, то бери, Карпо, топор, да и руби груши. Я вам своего не подарю, — до хрипоты кричала Мотря.

— Да погляди-ка ты, ведь на твоей половине все груши большие, а на моей маленькие, молодые! — произнес Лаврин.

— Мотря говорит правду: вы нам отдайте половину пасеки, а также половину овец и свиней, — сказал Карпо.

— Вишь, какой умный! Забери еще половину котлов да собак! — закричала Кайдашиха. — А отца кто бил в грудь? Лаврин-то хоть отца не бил.

— Бить не бил, да и слушать не слушал! — спокойно ответил Карпо.

— А ты забыл, что я еще живу на свете? И я тоже имею какое-то право на отцовское добро. Ты готов, наверное, меня живой в землю закопать! — завопила Кайдашиха. — Ты со своей Мотрей меня, сироту, хочешь обидеть? Нет, Карпо, пускай нас уж лучше общество рассудит!

— Что ж, общество так общество!.. Пойдемте в волость, потому что я своей частью тоже не поступлюсь, — сказал Карпо.

Карпо с Лаврином и Кайдашихой пошли в волость, а Мотря с Мелашкой остались во дворе правления.

Волость присудила отцовское добро Лаврину и матери, поскольку Карпо еще при жизни отца забрал свою часть. Как услышала это Мотря, так чуть не рехнулась и подняла невероятный крик возле волостного правления.

С тех пор между Кайдашенками и их женами не было мира и спокойствия. Мотря и Карпо, поссорившись с Лаврином и Кайдашихой, больше не заходили к ним в хату.

— Ну, Мотря, выиграла? Будь довольна тем, что тебе волость присудила, — дразнила старая Кайдашиха Мотрю.

— Дразните уж, как собаку, дразните, — говорила Мотря и чуть не плакала от злости.

Обе семьи насторожились одна против другой, словно петухи, готовые броситься друг на друга. Достаточно было одной искры, чтобы разгорелся пожар. И такая искра вскоре упала на мусор.

Как-то утром Мелашка подмела хату, половину сеней, возле завалинки и оставила сор у порога, а сама пошла за рядом, чтобы в нем вынести сор в мусорную яму. Как раз в это время Мотря выбежала из сеней и увидела около порога мусор. Мусор был подметен к завалинке Мотри.

— До каких пор я буду терпеть от этой иродовой Мелашки! — закричала Мотря на весь двор и, схватив метлу, разбросала сор вдоль завалинки Лаврина.

— Кто это разбросал сор? — спросила Мелашка у Мотри.

— Я разбросала: не подметаю свой сор к моей завалинке, а то когда-нибудь я им накормлю тебя, — сказала со злостью Мотря.

— Вишь, какая!.. Не дожدهшься ты меня мусором кормить! Накорми лучше своего Карпа, — ответила Мелашка и стала сгребать сор в кучу к порогу.

— Не мети ты к порогу, мне через него ходить нужно! — заорала Мотря.

— Гляди, какая знатная барыня! Испачкаешь, княгиня, свои золотые подковки, — сказала Мелашка.

— Не мети к порогу, а то схвачу тебя за шею, как кошку, да и суну мордой в мусор, чтоб в другой раз так не делала, — сказала Мотря.

Слова Мотри сильно задели Мелашку. И она вспыхнула от стыда.

— Ах ты дрянь! Да как ты смеешь мне такое говорить! Разве ты моя свекровь? Ты думаешь, что я смолчу? — раскричалась Мелашка. — Ты еще смеешь меня учить, как малого ребенка? Вот тебе, вот тебе!

И Мелашка подбрасывала метлой сор на Мотрину завалинку, на стены, на окна, отчего даже стекла звенели, а то, что было мокрым, поприставало к стене.

Мотря от удивления даже рот раскрыла. Она не ожидала от Мелашки такой смелости и сначала не знала, что и говорить.

— Так, значит, ты так! Это поднимает руку на меня та, что от свекрови убегала?

— Ты мне не свекровь, а я тебе не невестка. От тебя я убегать не собираюсь и молчать тоже не буду. Вот тебе! Вот тебе!

Метла в руках Мелашки свистела, как ястреб в воздухе, так что даже стекла в окнах дрожали. Мотря бросилась к Мелашке, пытаясь выхватить у нее метлу. Мелашка была слабее и выпустила метлу из рук. Мотря замахнулась на нее метлой. Карпо в это время сидел в хате и услышал, что в окна что-то порошит. Ему казалось, что по окнам бьет град.

«Что за чудо! Небо ясное, а на дворе град», — подумал он.

— Караул! Караул! — закричала Мелашка. — Какого ты черта пристаешь ко мне, сатана?!

Из хаты выбежала Кайдашиха прямо от печи с кочергой в руках. Она увидела, что Мотря, размахнувшись метлой, готова вот-вот огреть ею Мелашку, и подняла кочергу. Мотря отскочила от завалинки, и кочерга угодила прямо в окно Мотриной хаты. Стекло зазвенело, а мелкие осколки посыпались на завалинку.

Из хаты выбежал Карпо, а за ним Лаврин. А три женщины, уцепившись за кочергу и метлу и дергая их во все стороны, кричали да таскали друг друга. Метла не выдержала. Прутья посыпались из нее, словно перья из гусыни. Мужчины растащили женщин и разогнали их.

— Отделяй хату! Пускай я пропаду, но не буду с ними жить в одних сенях! — орала Мотря. — Бери,

Карпо, топор и сейчас же отделяй хату. А если ты не хочешь, то я сама возьму топор и начну отделять хату.

— Да вы взбесились или с ума сошли? — говорил Карпо. — Кто это разбил окно?

— Твоя мать! Это началось уже с петрова дня! Одна испоганила мне стены, другая побила окна. Вот тебе за это! Вот тебе! — кричала Мотря и, хватая из лужи грязь, стала бросать ее на хату Мелашки. Белая стена стала рябой, словно ее облепили жуки и оводы.

— Да побей тебя сила божья! Не бросай, а то я тебе голову проломлю кочергой, — крикнула Кайдашиха и погналась за Мотрей. Но та удрала за хату и, выглядывая из-за угла, проклинала Кайдашиху.

— Лаврин! Отделяй хату. Мне все равно, пускай Мотря идет ко всем чертям или под плотину; никогда в жизни я не буду жить с нею под одной крышей, — кричала Кайдашиха.

— Карпо! Отделяй их хату, а то я подожду их и себя да в Сибирь пойду, — кричала Мотря.

— Лаврин! Отделяй их хату, а не то я к соседям переберусь. Сейчас же пойду в волость, пускай общество придет и разбросает их хату, — кричала Кайдашиха.

Сказав это, Кайдашиха накинула свитку и побежала в волость судиться с Мотрей и Карпом. Волостной вызвал Карпа в суд. Карпо заявил волостному, что он и не думает отделять хату, а поругались и подрались только молодухи. Волостной выгнал Кайдашиху из правления. Следом за Кайдашихой прибежала в волость Мотря и стала рассказывать все по порядку, начиная с мусора... Волостной слушал-слушал, да и плюнул.

— Идите вы к чертовой матери, по мне, хоть глаза себе повыцарапайте, не то что окна, — сказал он и ушел в другую комнату, да еще и дверью хлопнул.

В тот же вечер Кайдашиха поужинала с детьми и собиралась было уже ложиться спать, как вдруг слышит — на чердаке всполошились и закудахтали куры.

— Ой, хорек на чердаке! — промолвила Кайдашиха.

«Может, вор залез», — подумал Лаврин.

Кайдашиха взяла лампу и выскочила в сени; за ней следом выскочили Лаврин и Мелашка.

В сенях было светло. Кто-то лазил на чердаке с лампой.

— Кто там лазит? — громко спросил Лаврин.

С чердака никто не отзывался, только одна курица кудахтала во все горло, словно ее душили. Лаврин стал на лестницу и заглянул на чердак. Там стояла Мотря с курицей в руках.

— Какого ты черта пугаешь наших кур! — закричал Лаврин, стоя на лестнице.

— Разве ты не видишь? Свою курицу поймала на вашем насесте.

— Разве мы приглашали твою курицу на наш насест? — ответил Лаврин. — Шапку перед ней снимали, что ли?

— Верни-ка мне яйца, а то моя черная курица давно уже несется на твоём чердаке.

Мотря лазила по чердаку и собирала в гнездах яйца. Всполошенные куры носились по чердаку и летели на свет в сени.

— Ох, боже мой! Это не Мотря, а бендерская чума! Она меня со света сживет, — говорила Кайдашиха, — да еще и хату подожжет лампой. Покарал меня господь, да уже и не знаю за что!

— Наверное, за вашу доброту, — отозвалась Мотря с чердака и поставила на лестницу свою крепкую с толстой икрой ногу.

Одна курица, летя с чердака, погасила свет. В сенях стало темно. Лаврин стоял, забравшись на лестницу. Мотря двинула ему пяткой в зубы. Он сплюнул. Второй пяткой Мотря задела его по носу. Нога ее скользнула по лицу Лаврина. Мотря готова была сесть ему на голову.

— Чего ты лезешь мне на голову! — закричал Лаврин и стал трясти лестницу. — Не лезь, а то я тебя, сякая-такая душа, сброшу с лестницы!

Лаврин прыгнул в сени и стал раскачивать лестницу. Лестница стучала о стенку.

— Сбрось ее с лестницы на пол, пускай себе шею свернет, чтобы знала, как лазить на наш чердак! — кричала в темных сенях Кайдашиха.

Лаврин убрал лестницу. Мотря, как кошка, повисла в воздухе, одной рукой и локтем уцепившись за перекладину. В другой руке она держала курицу и не хотела выпускать ее, а за пазухой у нее были яйца, очень деликатная вещь. Мотря, боясь сделать за пазухой яичницу, никак не могла выбраться снова на чердак и одной рукой держалась за перекладину.

— Ох, беда, ох, упаду! ох, ох, ох, караул!.. — завопила Мотря не своим голосом.

От такого крика Карпо не усидел в хате и выскочил с лампой в сени. Лаврин стоял посреди сеней с лестницей, Мотря болталась на стене, как паук на паутине.

— Бей ее лестницей, да посильнее! — кричала Кайдашиха. — Пускай не собирает яйца на нашем чердаке!

Кайдашиха бросилась к лестнице и в самом деле угостила бы ею Мотрю пониже спины, но Карпо выхватил лестницу из рук Лаврина и толкнул мать с такой силой, что та чуть не упала. Потом подставил лестницу. Мотря слезла на пол с курицей в руке.

— Отдай мне яйца, ворюга! Зачем украла наши яйца? — кричала Мелашка.

— Это моя курица их снесла, — сказала Мотря, удирая в свою хату.

— А разве твоя курица на них метки ставила? Если ты не вернешь мне яйца, я пойду в волость, — говорила Кайдашиха.

— По мне, идите хоть и за волость! — кричала Мотря из своей хаты, вытирая тряпкой за пазухой.

Мелашка зажгла свет, переловила в сенях своих кур и забросила их на чердак. В обеих хатах еще долго шумели. Потом все постепенно стихло, как волны на озере после ветра.

— Отделяй хату от этих нищих! — говорила Мотря в своей хате Карпу.

— Да ты очумела, что ли? Будто хату оторвать так просто, как кусок хлеба отрезать? Ты ведь не знаешь, сколько это будет стоить.

— Что бы там ни стоило, отделяй, а если не хочешь, то я сама отделю, — говорила Мотря.

— А ну, попробуй! Вот ведь надумала, даже смешно.

Однако вскоре после этого происшествия Карпо увидел, что это совсем не смешно.

На следующий день Кайдашиха принарядилась и пошла к священнику жаловаться на Мотрю. Она рассказала обо всем не так священнику, как матушке. Матушка дала ее внучатам коржиков и баранок с сахаром. Кайдашиха принесла эти гостинцы и раздала их детям Мелашки. Дети Мотри почуяли носом гостинцы и выбежали в сени. Кайдашиха дала и им по баранке.

— Не берите от бабки гостинцы, потому что она воровка! — крикнула Мотря из своей хаты.

Дети взяли гостинцы и давай махать ручонками на бабку да приговаривать те слова, которые им не раз приходилось уже слышать из уст матери.

— Бабка плохая, бабка воровка! — лепетали они.

— Гостинцы-то у бабки взяли, да еще и ругаете ее, — промолвила Кайдашиха и заплакала.

Мотря выскочила из хаты, отняла у детей баранки и бросила их собакам.

— Ты человек или зверь? — спросила у нее Кайдашиха, вытирая слезы.

В тот же день старший мальчик Мотри пил воду из Мелашкиной кружки и кадки. В сенях стояли две кадки с водой: Мотрина по одну сторону, Мелашкина — по другую. Маленький мальчик, не зная взглядов матери на право собственности, взял кружку с той кадки, которая стояла к нему поближе, но не удержал ее в руках, упустил, и она разбилась.

Кайдашиха выскочила из хаты и подняла крик.

— Видишь, иродова душа, научила детей ругать меня, а теперь они мне убытки приносят, — крикнула Кайдашиха Мотре в дверь.—Иди-ка сюда да погляди!

Мотря выбежала из хаты. Она увидела, что осколки от кружки лежали на полу, а мальчик, засунув пальцы в рот, виновато наклонил голову.

Кайдашиха, не долго думая, схватила кружку с Мотриной кадки да хлоп ею об землю.

— Вот уж и вправду черт попутал. Старое, как малое! Совсем баба рехнулась. Что вам ребенок сделал? — крикнула Мотря.

— Твои дети такие же змеи, как и ты. Наплодила волченят, так не подпускай их к моей кадке.

— Так спрячьте свою кадку за пазуху, а мне кружку купите, ведь вы не ребенок, — ответила Мотря.

— Эва! Как бы не так! Вишь ты, как слепых щелят, распустила своих детей. Не дожدهшься, — продолжала Кайдашиха.

— Если так, то и я вам отплачу! — сказала Мотря.

Сказав это, она вбежала в хату Лаврина, схватила с полочки горшок и хлопнула им о землю. Мелашка и Лаврин только рты раскрыли от удивления.

А Мотря уже выбежала из хаты. Мелашка побежала следом за ней.

— Если так, то и я способна на солдатскую закуцию¹, — закричала Кайдашиха и, как безумная вбежав в Мотрину хату, схватила с лежанки огромную макотру и — хлоп ее о землю.

Карпо даже вскочил с табурета. Ему показалось, что мать сошла с ума.

— Ах, сто чертей вам с Мелашкой в печенки! За такую макотру я знаю, как вам отплатить! — закричала Мотря, побледнев как воск. Она вскочила в хату Лаврина, схватила кочергу и трахнула ею по горшкам, что сушились на лавке. Горшки застонали, черепки посыпались на пол.

Кайдашиха, долго не раздумывая, тоже схватила кочергу, а Мелашка ухват — и айда в хату к Мотре! Кайдашиха кочергой лупила горшки на полочках, а Мелашка ухватом колотила миски в шкафу. Горшки падали с полки, как яблоки с дерева во время землетрясения.

Кайдашенки остолбенели, им показалось, что их молодухи совсем обезумели. Лаврин подумал, не укусила ли мать случайно бешеная собака. Карпо подумал то же. Ему показалось, что на Мотрю находит бешенство. Но они, увидев, что с полок падают горшки, а из шкафа миски, взялись защищать полку и шкаф. Карпо едва одолел мать и отнял у нее кочергу. Лаврин выхватил из рук Мелашки ухват и этим спас три глубоких миски.

¹ Закуция — искаженное «экзекуция» — военное усмирение или построй солдат, введенные Николаем I как наказание за бунт.

Все три женщины едва переводили дух. Они вопили, визжали, ругались. Шум в хате был такой, что ничего нельзя было разобрать.

— Ты лютая змея, а не свекровь! — кричала Мотря. — Я буду дочерью дьявола, если не разобью тебе голову кочергой.

— Кто? Ты? Мне? Своей матери? — шипела Кайдашиха. — Карпо! Ты слышишь, что твоя Мотрешка говорит мне? Да это ты такое говоришь мне, своей матери? Карпо, возьми веревку да повесь ее сейчас же в сенях на перекладине, а то если ты ее не повесишь, так я сама ей смерть учиню.

— Карпо, возьми веревку да привяжи свою мать на три дня на выгоне у столба, как бешеную собаку. Пускай на нее три дня собаки лают, пускай на нее три дня все село плюет! Она меня отравит или зарубит, — визжала Мотря.

— Что ты говоришь? Чтоб меня мой сын, моя кровь, да привязал веревкой на выгоне на посмешище людям? — шипела Кайдашиха. — Вот я сейчас возьму мешок да надену его тебе на голову, как бешеной собаке, а то ты нас всех покусаешь.

Кайдашиха вытащила из-под лавки пустой мешок и подбежала к Мотре.

Карпо только глаза вытарашил и не знал, кого слушать: вешать ли жену или связывать веревкой мать.

— Ты воровка! Ты у нас яйца украла! — закричала Кайдашиха и с мешком в руках бросилась к Мотре.

— Брешешь, не докажешь! Ты сама воровка, потому что обворовывала меня целый год. Я работала на тебя, как на барыню, — кричала Мотря.

— А почему тогда ты не ушла от меня, если тебе было так плохо? — визжала Кайдашиха. — Почему тебя черт не понес в Бессарабию или за границу?

— Эва! Как бы не так! Из-за такой дряни да еще за границу бежать! Бросайся уж лучше ты сама хоть с плотины в воду! — вопила Мотря. — Ты воровка, ведьма!

— Кто? Я ведьма? Я воровка? — шипела Кайдашиха. — Вот тебе, на!

И Кайдашиха поднесла Мотре дулю. Но попала ей не в нос, а в глаз. Мотря схватила метлу и двинула рукояткой Кайдашихе прямо в глаз.

— Ой, беда! Проклятая змея выколола мне глаз! — заплакала Кайдашиха и схватилась за правый глаз.

У нее из глаза потекла кровь. Лаврин и Мелашка, увидев кровь, еще больше разозлились. Они бросились защищать мать. Лаврин изо всех сил толкнул Мотрю, и та отлетела на скамью. Карпо бросился защищать Мотрю и толкнул Лаврина. Тот ударился о шкаф. Три миски, спасенные давеча Лаврином от внезапной гибели, полетели ему на голову.

— Отделяй хату, Карпо, а то я брошу тебя вместе с твоей проклятой матерью и с твоим иродовым гнездом! — вопила Мотря.

— В волость ее, разбойницу! В тюрьму ее!.. Отделяй, Лаврин, ее хату, а то я сама полезу на крышу и начну срывать солому.

Лаврин и в самом деле рассвирепел. Он схватил лестницу, приставил ее к стрехе, выскочил на кровлю и начал срывать солому с хаты Карпа. Солома падала на землю. Как тощие ребра, заблестели на хате стропила и латы.

Тем временем Кайдашиха умышленно размазала кровь по всему лицу, по груди, выдернула из-под очипка волосы и побежала к священнику, а потом в волость и подняла там вопль.

— Ох, боже мой! Звоните во все колокола! Карпо с Мотрей убили Лаврина, убили Мелашку, убили меня. Спасайте, кто в бога верует! — кричала исступленно Кайдашиха в волости. — Созывайте общество, да сейчас же!

Волостной и писарь, увидев окровавленную Кайдашиху, испугались и побежали к Кайдашенкам. За ними бежала Кайдашиха и голосила на все село. Волостной с писарем прибежали во двор и увидели живого Лаврина, который сидел на хате и срывал с крыши солому. Из хаты выбежала Мелашка, живая и здоровая, а за ней и Мотря.

— Спасите! — заголосила Мотря. — Если меня найдут зарубленной топором, то пускай все общество знает, что меня зарубила свекровь! Спасите, кто в бога верует!

— Чего ты, безумная, кричишь? — спросил председатель. — Ведь ты еще жива.

— Спасите, она меня уже убила! — вопила Кайдашиха.

— Да взбесились вы, что ли? — спросил писарь. — Бегает по двору, вопит, что ее уже убили. Что у вас тут случилось?

— Вот что случилось! — указала пальцем на глаз Кайдашиха.

— А ты что делаешь на хате? — крикнул волостной Лаврину. — Сейчас же слезай и отвечай нам.

— Не слезу, пока не отделию хату Карпа, — ответил Лаврин и швырнул сноп соломы волостному на голову.

— Какого ты черта швыряешь на людей солому! Сейчас же слезай, а то я сам полезу на крышу и стащу тебя оттуда да всыплю сотню розог! — закричал волостной.

Лаврин, сорвав полсотни снопов соломы, остыл немного и слез на землю. Волостной с писарем вошли в хату: в комнатах Лаврина и Карпа кучами валялись черепки от горшков и мисок.

Выбежавшие из хаты дети, увидев страшное, окровавленное лицо бабки, подняли крик. Собаки лаяли, даже выли на волостного и писаря. Из села начали сбегаться люди. Волостной вместе с писарем да с несколькими крестьянами повели в волость Кайдащенко, их жен и Кайдашиху. Там они с трудом разобрались в случившемся и присудили Карпо отделить свою хату, поставив ее отдельно на своем огороде, потому что Лаврин, как младший сын, имел право оставаться в отцовской хате и за это обязан был содержать мать до самой смерти. Общество присудило также Кайдащенко разделить землю пополам.

Волостной все-таки посадил Мотрю в холодную на два дня за то, что она выбила матери глаз.

После такого скандала Кайдашиха заболела. Глаз у нее совсем распух и стал с куриное яйцо. Потом опухоль с глаза сошла, но с тех пор она ослепла на правый глаз.

— Господи!.. Из-за чего это у нас в семье начались такие скандалы? — говорила Кайдашиха. — Это ведь неспроста: это, наверное, мастера заложили хату не на мирную жизнь и смерть, а для скандалов.

Кайдашиха решила пойти к священнику и просить его освятить хату. Не сказав ничего Лаврину и Карпу, чтобы они не воспротивились, Кайдашиха побежала к священнику со своей просьбой.

Приближался храмовой праздник в семигорской церкви, и хозяйки стали белить хаты. В этот день Мотря как раз полезла в печь, чтобы вымазать ее.

Пришел священник, а вместе с ним пришли дьячок и пономарь.

Священник покропил святой водой хату и сени. Кайдашиха попросила его освятить и хату Карпа: ей все-таки было жаль сына.

Кайдашиха открыла дверь в хату Карпа, а там на шестке виднелись болтающиеся ноги пятками вверх, пальцами вниз. Толстые икры торчали, точно два полена. Это в печи лежала Мотря.

Священник окропил хату Карпа.

— Зачем вы, мама, святите мою хату? Разве я вас об этом просил? — обратился Карпо к матери.

— Для того, чтобы твоя жена не била горшки да не выбивала глаза, — сказала Кайдашиха. — Нашу хату, наверное, мастера заложили как раз на твою скандальную Мотрю.

— Так освятите, мама, сначала себя, ведь и вы не без вины; вдвоем с Мелашкой побили горшков больше, чем Мотря, — ответил Карпо.

— Не шути, сынок! Ты еще молодой. Не забывай: у тебя дети, у тебя скотина. Смотри...

— Да уж святите или не святите мою хату, а я все же отделю ее от вашей и не буду строить для скандалов, — сказал Карпо и сразу же принялся отделять свою хату и ставить ее на своей земле.

Двор у Кайдашей был небольшой, а когда его разделили, то, понятно, дворы получились еще меньше. Старая хата боком выходила на улицу, потому что в селах хаты строят окнами и дверьми на юг. Карпо построил свою хату недалеко от хаты Лаврина. Хата Карпа стояла тыльной стороной к двери хаты Лаврина. Мотря хотела, чтобы Карпо поставил у себя такой забор, чтобы и птица через него не перелетела. Карпо пришлось перегородить и двор и огород.

— Вот так, Карпо, надо было давно сделать: были бы и горшки целы, и глаз у твоей матери, — говорила Мотря.

Прожили Кайдашенки зиму на разных дворах, и две семьи стали понемногу мириться. Вначале из одной хаты в другую стали забегать дети. Им были безразличны скандалы родителей. За детьми стали забегать один к другому отцы по своим хозяйским делам: то за рубанком, то за сверлом, то за топором, сначала в сараи, а потом и в хаты. А затем стали мирно разговаривать через забор их жены. Только Кайдашиха не ходила к Мотре: слепой глаз навеки закрыл ей дорогу к старшей невестке. На старое жилище Кайдаша повеяло спокойствием. Чтобы не бегать кругом через ворота, Карпо и Лаврин сделали через забор перелаз.

Мир между братьями укрепился еще больше во имя интересов хозяйства, в интересах общей выгоды.

Карпо, отделившись от отца, на первых порах, пока собирал свое собственное хозяйство, испытывал трудности. Человек гордый, упорный, настойчивый, он не любил никому кланяться, даже родному отцу. У него была только одна пара волов, и когда возникала нужда в супряге для пахоты, он никогда не просил волов у отца, а договаривался о супряге с чужими людьми. У Лаврина тоже осталась пара отцовских волов. Карпо теперь спрыгался с Лаврином, и они вдвоем в супряге вначале пахали поле Карпа, а потом Лаврина. Карпо ходил за плугом, а Лаврин погонял волов. Взаимная выгода понуждала их помогать друг другу и в пахоте, и в севе, и в бороновании, и в вывозе урожая.

Как раз в это время недалеко от Семигор была проложена железная дорога из Киева. Крестьяне стали заводить коней и возить из ближайших сахарных заводов на железную дорогу сахар, а из помещичьих и еврейских мельниц муку. Карпо и Лаврин тоже купили по лошади. А так как на одной лошади далеко не уедешь и много груза не возьмешь, то они спрыгались лошаадьми в одну пару, а заработок делили пополам.

Подати были большие, да и плата за землю была немалая. Карпо и Лаврин увидели, что поле не обес-

печит их деньгами для податей, и они стали искать заработков в осеннее и зимнее время на стороне.

Община волости выбрала Карпа десятским.

— Карпо человек гордый и жесткий, из него выйдет придиричивый начальник; может, его будут бояться хоть бабы и молодухи, — говорило общество.

— А может, уважаемое общество, мы изберем десятским Мотрю? — вставил слово один шутник.

— Нельзя, она всем бабам глаза выбьет, — смеясь, бросили мужики.

Пришел приказ из волости: выровнять дорогу, починить мосты и засыпать болото. Карпо зазывал людей на работу и в первую очередь велел снять тот пакостный бугорок на горе, повыше своего огорода, на котором его отец поломал десятка два повозок.

— А ну, Лаврин, бери-ка лопату да иди на работу, — велел Карпо брату.

— Пойди раньше выгони на работу свою Мотрю, — промолвила старая Кайдашиха.

— И Мотрю выгоню. Вы думаете, что пожалею? — говорил Карпо.

Он и в самом деле должен был послать на работу свою Мотрю.

Люди прокопали спуск наискосок так, как когда-то советовал покойник Кайдаш, и молодухи снесли бугорок в своих подолах Карпу под забор.

Прошло уже немало лет после крепостничества. Община понемногу активизировалась и стала отстаивать свою выгоду, свое общественное право.

В это время община затеяла дело с корчмарем. Один богатый еврей из местечка, заплатив помещику большие деньги, приобрел себе право строить в селе на господской земле корчмы. Он со всех четырех сторон украсил село своими корчмами и пустил в продажу водку по более дешевой цене, чем в общественной корчме. Люди бросились за водкой к нему. Общественная корчма стояла пустой, и туда никто не заглядывал.

Волостной собрал общину. Кайдашки стали кричать на собрании общины.

— Уважаемое общество! — говорил Карпо. — Надо, чтобы ни один человек из нашего села не покупал водку в чужих корчмах. Посадим около чужих каба-

ков десятских и сотских — пускай они дубинками гонят оттуда людей.

— Я сам сяду с дубинкой и буду отгонять хотя бы и свою родню! — крикнул Лаврин. — Пускай евреи сидят зря все лето над своими бочками. Посидят, да и уйдут.

— Кайдашенки правильно советуют! — загудела община. — Посадим людей и не пустим никого в корчмы.

Общество посоветовалось и разошлось.

Корчмарь, увидав, что дела его плохи, взял ведро водки и отнес его волостному, другое отнес писарю да пригласил к себе в корчму десяток людей, которые управляли общиной, и поставил им полное ведро водки.

— Для чего нам конкурировать, — говорил хитрый корчмарь, — зачем вам обижать меня? Буду я зарабатывать, будете и вы. Я буду продавать по такой же цене, как и вы, да еще сразу дам волости сорок рублей отступного.

— А заплатишь ли? — спросило несколько мужиков.

— Ох, ох, почему бы и не заплатить для хороших людей; вы думаете, что я еврей, так у меня нет души? Я готов и на церковь пожертвовать. Эх, да что там говорить! Вот вам крест, если мне не верите!

И Берко перекрестился по-христиански.

— Да вы глядите! Еврей крестится! — зашумели люди.

— Вы думаете, что я не уважаю вашей веры? Да я готов жить с вами как с братьями, — подлизывался он. — Вот вам еще ведро водки. Сура, вынеси-ка гостям еще селедок и хлеба! — крикнул он жене.

Сура глубоко и громко вздохнула: ей, очевидно, было жаль селедок, но она все же вынесла и положила их на стол перед людьми.

— Кушайте, добрые люди! Вы думаете, что я жалею для вас? — говорила Сура. — Ой, ой, — продолжала она уже тихонько, выходя из комнаты.

Люди пили, закусывали и слушали Берка, а тот словно играл на цимбалах своими льстивыми словами.

Бывшие крепостные развесив уши слушали Берка. Его слова, подслащенные водкой и приправленные селедкой, так и влезали в их души. Они не знали, что

Берко постепенно заберет свои сорок рублей — и за селедки, и за ту водку, которую они бесплатно пили у него, — из их же карманов: то недоливая, то подливая в водку воду, то назначая более высокую цену.

Люди растаяли, как воск, и начали хвалить Берка. Некоторые уже были совсем пьяненькие.

— Вы теперь господа, да еще и какие господа! Куда барину до вас! Вы, Грицько, теперь барин! Вот кто барин! Что захотите сделать в волости, то и делаете! Вы, Петр, теперь хозяин на все село, как князь. Теперь вы господин, а прежние господа превратились уже в Ицикову сучку, — льстил Берко мужикам. — Так что же, господа, согласится ли община отдать мне свою корчму и пускать людей в мои корчмы? Я подарю сорок рублей волости, а за вашу корчму сейчас же кладу деньги на стол!

— А добрый еврей, — крикнул один пьяный мужик, — даже деньги сразу дает. На сходе будем стоять за него!

— Ну да, будем, потому что и на церковь еще даст!

Как раз в это время Карпо Кайдашенко ехал с ярмарки и, увидев около помещичьей корчмы кучку людей, остановился. Берко знал, что Карпо не любит водки и на сходе всегда против него выступает. Он спрятался в комнату.

— Здорово, Карпо! — крикнул Грицько и стал обнимать да целовать Карпа. Острая небритая борода Грицька точно иголками колола лицо Карпа.

— Да, здоров... — говорил Карпо, отворачивая лицо. — Хватит уже тебе!

— Здоров, мой сокол! Да зайди-ка ты в корчму, выпей с нами хоть чарочку! — лепетал Грицько и опять хватал Карпа за шею и чмокал в щеку.

Борода Грицька поцарапала щеку Карпа до крови.

— Да отвяжись ты, к чертовой матери! Вот уж потянуло тебя целоваться! Даже кровь выступила на щеке!

— Голубчик ты мой! Да неужто ты с нами не выпьешь хоть по одной чарочке, хоть по полчарочке! Да тут такой добрый еврей! А! Что там и говорить! — Грицько опять развел руками и выпятил губы для поцелуя.

— Да отвяжись ты от меня! Пойди обними и поцелуй мою лошадь, коль тебе так захотелось целоваться, — говорил Карпо. — А зачем вы пьете водку в этой корчме? — спросил Карпо.

— Да лучше бы и не говорить... — сказал Грицько. — Тут такой добрый еврей, такой добрый, черт его побери. Да откуда он, такой добрый, взялся?.. Благодарение богу и всем святым, он и на церковь дает!.. Вот комедия!

— А вы забыли, что сами на сходе постановили?

— Голубчик ты наш, сокол ясный, — говорил пьяный Грицько, тыча свою колючую бороду в нос Карпа, — да не чурайся ты нашей хлеба-соли.

Карпо увидел, что с пьяными разговаривать — только время терять, и ударил кнутом лошадь. Воз покатился.

— Карпо, Карпо, да зайди хоть по капельке, хоть по капельке! — кричал сзади Грицько, плетясь за возом.

На следующий день собрался сход. Карпо был удивлен: община уже пела по-иному; волостной и писарь уже сами поддерживали сход и кричали, чтобы не только разрешать людям брать водку в шинках Берка, а даже общинную корчму отдать ему... потому что Берко сейчас же уплатит деньги...

— Уважаемое общество, плохой вы даете совет, я не поддерживаю его! — сказал, насупившись, Карпо и отошел в сторону.

Сход отдал Берку общественную корчму, хотя обещанных денег на церковь шинкарь так и не дал, а только обманул пьяных мужиков.

Община потом дорого заплатила хитрому шинкарю... Берко принимал за водку не только хлеб, но даже краденое сено и солому. И понесли люди зерно мешками в закрома Берка, а он, глядя на пьяных мужиков, валявшихся возле его корчмы, только поглаживал белой рукой свою бороду... А потом взял да и поднял сразу цену на водку.

IX

Всю зиму и весну Кайдашенки прожили в мире. Кайдашиха, которую в селе теперь дразнили «кривой экономшей», сердилась на Мотрю, но невестки на это

не обращали внимания и между собой жили в полном согласии. Лаврин очень любил Мелашку: он никогда не то что не бил, но и пальцем не задел ее, даже никогда не ссорился с нею. Мотря часто придиралась к Карпу, но он не любил говорить и больше отмалчивался.

Но наступила весна. Хаты Кайдашенков стояли очень близко одна возле другой, а их огороды были отгорожены лишь плохоньким забором.

Мелашка посадила огурцы возле самого забора. Они взошли, как зеленое руно. Мотрин петух перескочил через забор и давай клевать огурцы. Петух кудахтал, созывая к себе кур. Все Мотрины куры перелетели через забор. За курами полезли цыплята. Наседка выгребла яму как раз посреди грядки.

Старая Кайдашиха, выйдя на огород и увидев такое, прямо за голову схватилась. Она тут же подняла палку с земли и швырнула ее. Палка задела петуха, он закричал и потащил через забор перебитую лапку. Двое цыплят полегли на месте.

Мотря выбежала из хаты и увидела своего петуха. Он волочил лапку по земле.

— Это вы, мама, перебили моему петуху ногу? — крикнула через забор Мотря.

— А то кто же? И если еще хоть раз твои куры да петухи полезут на наши огурцы, так я их зарежу и съем.

— И заплатите за них! Разве у нас волости нет? — говорила Мотря. — Не было, видите, у вас на огороде места для огурцов; посадили под самым перелазом. Карпо, ты видишь, что здесь творится?

— А что? Петух ногу волочит, — спокойно отозвался Карпо.

— Карпо! Сходи к своей матери да скажи ей, чтобы она больше не трогала моих кур! — приставала к мужу Мотря.

— Гм! — промычал Карпо, стоя возле хаты.

— Карпо! Слышишь или ты оглох? — закричала Мотря.

Карпо стоял и глядел на петуха.

— Карпо, ты оглох или хочешь меня сжить со света? Пойди и отругай свою мать.

— По мне, иди и ругайся хоть до самого вечера, — ответил спокойно Карпо.

— Такое сказал! Вот хорош! Мать убила двух цыплят, петуху перебила ногу...

— Подсыпь, подсыпь еще перца, — насмешливо сказал Карпо.

— Беги! Пускай Лаврин сейчас же уплатит нам за петуха! — крикнула Мотря над самым ухом Карпа.

— Да погромче, а то не слышу! Подбрось-ка еще соли к перцу, а то давно мы уже не ели с перцем.

— Пойди да посыпь перцем своей матери в носу и во рту, — вопила Мотря.

— Больно ты, Мотря, норовистая. Хотя и полюбил я тебя когда-то за этот перец, но ты уж слишком переперчила!

— Побей тебя сила божья, лодырь, — закричала Мотря, бросаясь на Карпа.

— Отстань, а то как толкну, так и перевернешься, — спокойно промолвил Карпо, нахмурив брови и искоса взглянув на жену.

Мотря попятилась назад.

В тот же день вечером поросенок Лаврина проделал в заборе щель и побежал в Мотрин картофель. Увидела это Мотря, взяла жердину да как огреет поросенка по спине. Поросенок завизжал и потащил по земле свой зад. Мотря, схватив его за ноги, швырнула во двор Лаврина. Старая Кайдашиха выбежала из хаты, увидела поросенка и подняла крик на весь двор.

— А кто это перебил спину нашему поросенку?

— Я перебила! — крикнула Мотря из-за угла своей хаты. — Пускай не лазит ко мне в огород. Это вам за моего петуха.

Мотря стояла за углом своей хаты и специально поджидала Кайдашиху. Она отрывисто крикнула Кайдашихе, обернулась и побежала в хату.

— Лаврин! Мелашка! Весь честной народ! Собирайтесь сюда! Посмотрите, что наделала Мотруха!

Лаврин и Мелашка выбежали из хаты и с жалостью смотрели на своего бедного поросенка.

— Мотря уже и в самом деле не знает, что выделывает, — сказал Лаврин.

Мотря в это время стояла за углом и только ждала этого. Она выскочила из-за угла, как казак из мака.

— Вот она — я! Слышу, слышу, как вы меня проклинаете! Это вам за моего петуха! Это вам за моих

цыплят, которых свекровь убила. Теперь подавайте на меня в суд!

Мотря ударила кулаком о кулак и наклонилась через забор как можно дальше во двор Лаврина, будто хотела достать кулаками до Кайдашихи, потом повернулась и быстро скрылась в своей хате.

— Ну, обожди ты, сука! Я сверну голову твоему петуху, — сказала Кайдашиха.

Кайдашиха, взяв лен, села пряхь за хатой да все поглядывала на огурцы. Вдруг Мотрин петух взлетел на забор; помахал крыльями, закукарекал да — скок в Лавриновы огурцы. Кайдашиха быстро вскочила с места и стала подкрадываться с пучком льна к петуху. А петух клюет огурцы да все: ко-ко-ко-ко! — словно дразнит бабку. Бабка бросила лен да — хлоп петуха по голове! Петух закружился на месте. Кайдашиха поймала его, свернула ему голову, прирезала, ошпарила, ощипала и положила в борщ.

Но в это время дети Мотри пришли играть к детям Мелашки. Старший мальчик заметил перебитую ногу петуха, торчавшую из горшка. Он сразу же шмыгнул к матери и рассказал ей об этом.

Мотря вбежала в хату Лаврина и, не поздоровавшись, заглянула в печь. Ой, батюшки! Ой, беда! Из горшка в самом деле торчала большая перебитая петушинная нога с толстой шишкой посередине и с одним отрубленным ногтем. Мотря, не говоря никому ни слова, схватила петуха за ногу, вытащила его из борща и бегом из хаты.

— Ой, баба! — закричал кто-то из детей. — Петух убежал из горшка, только следы на шестке остались.

Бабка молчала, надув щеки. Мелашке тоже сделалось неловко, Лаврин улыбнулся.

Мотря, вбежав в свою хату с петухом в руках, опять пристала к Карпу.

— Видишь, что твоя мать вытворяет! Вот тебе и перец с солью! Пойди да насыпь своей матери полный рот перцу, да еще и ее слепой глаз поперчи. Она и без перца совсем с ума спятила. Ведь это же наш петух? — сказала Мотря, показывая Карпу перебитую ногу.

— Наш. А зачем ты его зарезала?

— Мать твоя свернула ему голову, да еще и в свой борщ положила. Пойди да выколи ей второй глаз! Какой же ты хозяин? Почему ты ничего не скажешь матери? Твоя мать ведьма: она, того и гляди, порежет да побросает в борщ моих детей. Пойди да хоть косы ей оборви.

Карпу жаль было петуха. Он рассердился на мать за причиненный ему убыток и пошел ругаться с матерью и Лаврином.

В то время, когда Карпо ругался с матерью и Лаврином, Мотря велела своим детям поймать Мелашкиного черного петуха и принести его в хату. Хлопцам только того и надо было! Они побежали на огород Лаврина, поймали черного петуха и принесли матери. Мотря взяла его и бросила к своим курам.

К тому времени плохонький забор между двумя огородами совсем осел. Канав не было, и прямо через забор прыгали свиньи. На следующий день в огород Карпа перескочил рябой кабан Лаврина и стал рыть картофель.

Мотря увидела кабана и подняла крик. Она схватила ухват, дети взяли кочерги, и все сообща бросились на кабана. За детьми побежали собаки. Мотря с детьми загнала кабана в хлев и закрыла его.

Лаврин через забор стал требовать, чтобы Карпо выпустил кабана.

— А как же! Твой кабан в загоне за потраву. Выкупи его, тогда и возьмешь, — крикнула Мотря через забор, — а если не хочешь выкупать, то верни мне полмешка картошки.

Лаврин почесал затылок и пошел в хату. Кайдашиха только поджала губы.

В тот же день кум Карпа и Мотри пригласил их в корчму обмыть свивальник после крестин. Во дворе стояла лошадь Карпа, привязанная к возу, и ела сено. Дети Карпа отвязали лошадь и стали ездить на ней верхом по двору. Лошадь сорвалась с уздечки, на радостях лягнула задними ногами и перескочила через забор в огород Лаврина. Плохонькая загородь под конскими копытами приподнялась, как полотно, и упала на овощи. Лошадь набросилась на свеклу Лаврина.

Дети Лаврина прибежали в хату и дали знать об этом отцу и бабке. Вся семья выбежала из хаты, взя-

ла палки и давай гоняться за лошадью. Мелашка и Кайдашиха наконец поймали лошадь за гриву с двух сторон, завели в хлев и заперли.

Дети Карпа, игравшие во дворе, видели все это. Они сразу побежали в корчму и рассказали родителям о том, что их лошадь в загоне, закрыта в хлеву у бабки за поправу.

Карпо и Мотря сразу же побежали домой.

— Как! Возможно ли! За своего паршивого кабана они посмели взять нашего коня, — кричала дорогой Мотря.

— Я им покажу, что моя лошадь не то, что их петух, — говорил рассерженный Карпо.

Карпо с Мотрей прибежали домой. Старая Кайдашиха слонялась возле хаты: она ждала Мотрю. Все ее естество горело желанием поругаться, но не с кем было. Она увидела Мотрю и задрожала.

— Зачем вы, мама, загнали к себе нашего коня? — крикнула Мотря Кайдашихе.

— Стала бы я тащить твоего глупого коня через забор. А загнали, чтоб он в наш огород не скакал, — ответила Кайдашиха.

То не черная туча наступала из-за синего моря, то Мотря с Карпом двигались от своей хаты к забору. То не сизая туча поднималась над дубравой, то старая одноглазая Кайдашиха приближалась к забору, а следом за ней из хаты выходили Мелашка, Лаврин, а за ними все их дети.

Две семьи, точно две черные тучи, приближались одна к другой, мрачные, зловещие. Около забора стояла Мотря, высокая, пышная, такого же роста, как Карпо, с широким лбом, с заостренным лицом и блестящими, как огонь, черными маленькими глазами. Она была только в одной сорочке и узенькой запаске. Расчетливая и скупая, она сшила себе такую одежду, чтобы можно было в нее только втиснуться. Узенькая запаска обтягивала ее стан. В большом, как макотра, платке на голове Мотря была похожа на длинное шило. Позади Мотри стоял Карпо в тесной рубахе с коротенькими и узенькими рукавами, в широких белых штанах из грубого полотна. Сзади них стояла куча детей Карпа в узеньких штанишках и рубахах с короткими рукавами, в юбчонках выше колен.



По другую сторону забора стояла бабка Кайдашиха, высокая и сухая, как цыганская игла, в запаске, в широкой, белой как снег сорочке, в большом платке на голове. Слепой глаз белел, словно просвечивал насквозь, как ушко в игле, хоть нитку туда затягивай. Позади старухи стояла Мелашка в белой сорочке, в красном новом платке с зелеными и синими



цветами, в зеленой ситцевой юбке со множеством складок. Рядом с Мелашкой стоял Лаврин в широких синих с белыми полосками штанах. Мелашка расцвела и стала пышнее. Глаза ее, тонкие брови блестели на солнце, а лицо от висков к подбородку горело румянцем. Знойное солнце ярким светом заливало двор, людей и поливало их с головы до пят. Черный огромный

платок чернел на бабке Кайдашихе, как горшок, надетый на высокий кол.

Мелашка сияла, как куст калины, посаженный посреди двора. А солнечное марево заливало всех, дрожало, переливалось между женскими и детскими головами, словно какая-то золотая вода кружилась среди людей или какая-то основа из тонких золотых ниточек сновала по двору вокруг людей, вокруг хат, вокруг сада. Собаки стояли возле хат и тоже махали хвостами, глядя на людей. Им казалось, что их вот-вот позовут и натравят на кого-нибудь.

— Зачем вы отвязали нашего коня и заперли его в свой хлев? — крикнула Мотря. — Не святые же пришли с неба и отвязали его!

— Отстань, сатана! Кто его отвязывал? Это твои дети ездили по двору да отпустили его, — крикнула Кайдашиха.

— Мама, это бабка отвязала коня, да ипустила его по двору! — врали из-за угла дети Мотри.

— Нет, не бабка! Это Василь отвязал коня и ездил, пока не отпустил его, а конь задрал ноги да скок в наш огород! — кричал мальчик Лаврина.

— Вот посмотри, сука, на забор! Это твой конь повалил его. Заплати три рубля, отдай нашего кабана, тогда получишь своего коня, — кричала бабка Кайдашиха.

— Как это? За своего никудышного кабана вы взяли нашего коня! — вопила Мотря, подняв голову кверху.

— Это ваш конь никудышный и шелудивый, а не наш кабан, — кричала Мелашка из-за спины бабки.

— Еще и эта отозвалась! Молчала бы уже и не пищала, — закричала Мотря на Мелашку.

— Принеси лучше три рубля, а нет, так пойду в волость жаловаться на тебя, — отозвалась Мелашка.

— Еще и в волость она пойдет!.. Утри сначала свой сопливый нос, тогда иди в волость, — кричала Мотря.

— Не ругайся, а то я тебе глаза заплаю, — говорила бабка Кайдашиха.

Молодухи подняли крик на все село. Их ругань раздавалась, как колокольный звон, по всей ложбине, и доносилась чуть ли не до самой дубравы. Прибежали люди из соседних хат, смотрели во двор через за-

бор и ворота. Кое-кто из них стал вмешиваться, хотели помирить их и уговаривали Мотрю.

— Ведь это же иродовы Балаши! Разве вы их не знаете? — кричала Мотря людям.

— Ведь это иродовы Довбыши! Разве вы их не знаете? — орала Кайдашиха. — Ведь она из этой волчьей породы, что с чертовыми хвостами.

— Да хватит вам ругаться! — крикнул один мужик, стоявший за забором.

— Как это хватит! Так это же оборванцы, неряхи Балаши! Разве вы их не знаете? Это же биевские неотесы, что по базару нищих водят! — кричала Мотря. — Вот видите, сама покрыла голову, как на пасху, а отец ходит по селу с сумой.

— Бреешь, бреешь, старая сучка! Да и брехать толком не научилась! У тебя даже на это ума не хватает, — кричала Мелашка.

— Это у тебя ума как в дырявом горшке: столько же, сколько у твоей свекрови! — кричала Мотря, схватив две палки и заглядывая во двор Лаврина.

— Разве я тебе должна, что ты меня поносишь? — крикнула Кайдашиха и бросилась к забору так стремительно, что Мотря бросила палки и убежала во двор.

— Отдайте моего коня! — крикнул Карпо после всей этой перепалки. — А если не отдадите, я сам возьму.

— Нет, не возьмешь! Отдай сначала кабана, да еще и приплати, — ответил Лаврин.

— А за что я тебе должен платить? Твои же свиньи лезут в мой огород, ну а мой конь прыгнул в твой! Отдай коня, а то я с дубинкой пойду открывать хлев, — кричал Карпо.

— Нет, не отдам! Иди в волость и подавай на меня в суд, мне все равно, — кричал Лаврин.

Карпо стоял бледный как смерть. Голова у него немного шумела от хмеля. Он схватил кол, перескочил через забор и бросился к хлеву. Из хлева в отверстие повыше двери выглядывала смиренная лошадь с ласковыми глазами. Во дворе все стояли и молча глядели на Карпа: все боялись задеть его, так как знали, что он не уступит, когда разозлится. Только

одна бабка Кайдашиха бросилась к хлеву и заступила собой дверь.

Карпо схватил мать за плечи, придавил ее изо всей силы к хлеву и закричал как безумный:

— Берите, ешьте меня, а то я вас съем!

Карпо так потрянул мать, что даже убогонький хлев зашатался. Бабка, вырвавшись из его рук, заголосила и бросилась бежать со двора. Карпо погнался за ней с колом. Но старуха была еще проворная и помчалась со двора, как девчонка. Грузный Карпо в огромных сапогах никак не мог нагнать мать.

— Лупи ее по спине! Выколи ей второй глаз! — подзадоривала со двора Мотря.

Лаврин с Мелашкой побежали следом за Карпом защищать мать.

Кайдашиха неслась с горы прямо к пруду. Карпо уже нагонял ее. Кайдашиха почувствовала над своей головой кол и от испуга вскочила прямо в пруд, не подняв даже подола юбки; Карпо подбежал к воде и остановился.

— Не так мне матери жаль, как сапог, — крикнул он с берега.

— Ой, караул, спасите, кто в бога верует! Ой, утопит он меня, — кричала бабка, стоя по колени в воде.

— Да не утонешь, бабка, здесь даже посредине пруда старой лягушке по колени, — сказал мужик, поивший в пруду волов.

Карпо плюнул в воду, вернулся домой и пошел в овин спать. Кайдашиха, выбравшись из воды, мокрая по самый пояс и забрызганная по самую шею, побежала к священнику. Она шла по селу, голосила и жаловалась людям на сына, на Мотрю.

Лаврин, Мелашка, их дети и толпа людей — все шли следом за бабкой по селу. Кайдашиха пришла к священнику и стала плакать да жаловаться на Карпа и Мотрю.

— Батюшка! Осталась я сиротой, и некому за меня заступиться. Мотря выбила мне глаз, а Карпо сегодня меня чуть не утопил.

Священник направил Кайдашиху в волость. Она пошла в волость. Следом за ней шли взрослые и дети. В волости присудили дать Карпу десять розог или

уплатить матери пять рублей, если только он не попросит у матери извинения и не помирится с ней.

К вечеру Карпо проспался. Его позвали в волость и, хотя он был десятским, хотели разложить и всыпать десять розог.

Карпу стало стыдно, он ведь никогда не был крепостным, и помещики его не били. Он попросил у матери прощения, и между двумя Кайдашенками наступил мир. Чтобы свиньи не прыгали через забор, осенью перегородили отцовский огород канавой, да еще и терном обсадили.

Снова Кайдашенки жили в мире и согласии. Маленькие дети опять стали приходиться друг к другу играть; за ними стали заходить один к другому братья, а позже всех примирились женщины, хотя всегда начиналось именно с них. Братья совсем помирились, и Лаврин даже крестил ребенка Карпа.

Прошла зима. Снова наступило лето. Золотое лето несло с собой нелады между Кайдашенками. Теперь уж эти нелады начались из-за груши.

Когда община делила между братьями двор старого Кайдаша, то к половине Карпа отошла груша. Забор проходил в аршине от нее. Эта груша принадлежала Лаврину. Еще мальчиком Лаврин привил своими руками черенок к старому пню. Груша росла, как верба. Отец подарил эту грушу Лаврину во время богатой кутьи, когда тот чихнул за ужином. В семье эту грушу называли грушей Лаврина. Об этом даже знали все люди в деревне.

Груша выросла ветвистой, высокой, но долго не приносила плодов. Лаврин не раз и не два намекал Карпу, что к его двору отошла его груша. Но до тех пор, пока груша не плодоносила, никакой беды не было.

На беду, в это лето груша уродила, да еще и обильно. Груши были большие, с кулак, и сладкие, как мед. Таких груш не было во всем селе. Груш уродилось столько, что ветки клонились к земле.

Дети Лаврина узнали, что груша не дядина, хотя и стоит в его дворе, а отцовская. Старая бабушка до мелочей рассказала им об этом и подговорила их полезть через забор нарвать груш.

Дети только того и ждали. Мальчики полезли на грушу и давай трясти, а девчонки стали собирать

груши в пазуху. Вдруг из хаты выскочила тетка Мотря.

— А зачем это вы рвете наши груши?! — закричала Мотря на племянников и племянниц.

— Ага! Это не ваши груши. Бабушка сказала, что эта груша отца, а не дядина, — говорили дети и продолжали собирать груши.

— Вот я вам дам груш! Сейчас же выбрасывайте груши из пазух, а то нарву крапивы и дам вам таких груш, что вы позабудете, куда бежать.

Мотря побежала за крапивой. Дети бросились к забору, уселись на нем, как котята, и подняли крик. На их крики выбежала из хаты Мелашка.

— За что ты, Мотря, моих детей бьешь? — спросила у Мотри Мелашка.

— За то, что они крадут мои груши, — преспокойно ответила Мотря.

— А разве это твои груши? Это же наши груши, разве ты не знаешь об этом? — говорила Мелашка.

— Еще что-нибудь выдумай! На нашем огороде да выросла ваша груша. Это, наверное, все свекровушка наговорила тебе, что на вербе груши, а на осине кислицы растут, — продолжала Мотря.

Из хаты вышел Лаврин и стал защищать детей. Он кричал, что эта груша его, что об этом знает все село и дети имеют право рвать груши, когда захотят. Кайдашиха тоже выскочила из хаты и уже кричала на Мотрю во все горло.

— Идите, идите, детки, смело рвите груши! Это наша груша, — говорила детям Кайдашиха.

— Пускай только еще раз полезут в мой огород, я им палкой ноги поперебиваю, — кричала Мотря.

А груши висели, как горшочки, желтые, как воск! Дети Лаврина задали бы им жару, если бы они даже чужими были, а тут еще бабуся и мамуся говорят, что можно и нужно их рвать.

Дети, крадучись, снова полезли на грушу. Мотря выскочила с палкой и отколотила их.

На дворе Лаврина поднялся гвалт. Через забор переругивались уже не жены, а мужья. Лаврин доказывал, что груша его, потому что он прививал ее и отец ему подарил, а Карпо доказывал, что груша принадлежит ему, ибо растет на его огороде.

— Если на то пошло, так я имею право на половину груш, потому что дерево мое. Иди и жалуйся на меня в волость, мне все равно, — говорил Лаврин.

— Нет, я не дам половины груш, потому что груша растет на моей земле. Мало ли что когда-то говорил отец, — пробасил Карпо.

Но дети все же лазили в огород дяди, а Мотря угощала их розгами. Братья вынуждены были снова идти в волость. В волости присудили, чтобы Карпо ежегодно давал Лаврину половину урожая груши или чтобы он отгородил грушу с землей на два аршина, да и продал Лаврину эту землю.

— Как бы не так! Вот так сразу я и продам ему два аршина земли! — кричал Карпо. — Я и денег Лаврина не хочу, и земли не дам. По мне, пускай забирает свою грушу в свой двор, — говорил Карпо.

— Но, милый человек, ведь грушу перенести нельзя, — говорил председатель волости, — а рубить хорошее дерево грех. Ежегодно отдавай половину груш Лаврину, и идите себе с богом.

Лаврин и Карпо вышли из волости, будто помирившись. Карпо согласился отдавать половину груш Лаврину.

Пришли домой, и тут жена Карпо запела иное:

— За что же давать им половину? Возможно ли это? Они еще захотят, чтобы мы им давали половину урожая картошки и бураков. Это все свекровь наговаривает в волости.

Мотря продолжала гонять палкой детей Лаврина со своего огорода, пока ее дети и дети Лаврина не оборвали всех груш.

Прошла зима. Снова наступило лето. Пакостная груша, как назло, еще больше разрослась и вширь и вверх, опять уродила и стояла обильно усеянная плодами. Груш уродилось мешка три, если не больше. Груши висели большие и были в цене на ярмарке. Здесь уже пахло деньгами, а это для крестьянина не шутка.

Снова началась та же комедия. Еще груши не созрели, а дети Лаврина набросились на них, как пчелы на мед. Мотря выбежала с кочергой, побила детей Мелашки, да еще и груши отняла. Мелашка разъярилась, как волчица. Она бросилась к Мотре и чуть не

содрала с ее головы очипок. Карпо и Лаврин вновь пошли к священнику. Священник им советовал сделать так, как перед этим советовали им в волости.

— Карпо, ты уплати Лаврину отступного три рубля, и пускай груша навеки будет твоя. Лаврин, согласен ли ты? — спросил священник.

— Да разве можно согласиться с этим? — ответил Лаврин. — Ведь ежегодно я продам на три рубля груш, а вы хотите, чтобы я взял три рубля один раз, и все. Пускай лучше Карпо отрежет мне два аршина земли с грушей и поставит огорожу. Вот на это я согласен.

— Как бы не так! У меня и так огород небольшой, а ему еще отдай два аршина. Я с этим не согласен, — сказал Карпо. — Пускай Лаврин забирает грушу и пересаживает ее в свой огород, мне все равно.

— Ну тогда ежегодно делитесь грушами, — сказал священник.

— Но ведь, батюшка, дети Лаврина лазят в огород, как свиньи, и топчут овощи, а старая мать еще и подговаривает их к этому, — промолвил Карпо.

— Потому что твоя жена настоящая гадюка, простите за такое слово, батюшка. Твою жену только в клетку посадить да показывать на ярмарках за деньги, как зверя. Она, батюшка, обижала нашу мать, выбила ей глаз и моих детей колотит палкой, — жаловался Лаврин.

— Ну, как же быть? — спросил священник.

— Пускай будет так, батюшка, как вы скажете. Как вы присудите, так пускай и будет! — ответили братья.

— Так я же и говорю: пускай Карпо уплатит тебе три или четыре рубля, да и пусть будет груша его, тогда и ссоры между вами больше не будет, — опять посоветовал священник.

— Никогда я с этим не соглашусь! — сказал Лаврин. — Там груши, батюшка, с кулак. Я каждый год продам два или три мешка груш на три или четыре рубля.

— Ну, тогда, Карпо, отрежь ему землю с грушей.

— Что я — больной или ума лишился, чтобы отрезать свою землю! — ответил Карпо.

— Тогда уходите отсюда и подавитесь этими гру-

шами вместе со своими женами, — произнес священник и пошел в другую комнату, закрыв за собой дверь.

Карпо с Лаврином постояли-постояли, да и пошли домой, ругаясь по дороге, Лаврин кричал, что возьмет топор и срубит грушу. А во дворе около груши они застали уже драку: Мотря лупила детей Лаврина, Мелашка с бабкой кричали через забор на Мотрю, точно собаки лаяли. Начали собираться соседи. Прибежала даже бабка Палажка Соловьяха, а за ней и бабка Параска Грищика.

— Ох, господи! Вот если бы кто-нибудь взял хату Лаврина, да и отодвинул ее, — сказала премудрая бабка Палажка, — вот на ту гору либо за гору, а хату Карпа отодвинул вон туда, за пруд или за дубраву, тогда бы они мирно жили.

— Поучай! Поучай! Вишь, какая премудрая! — не удержалась бабка Параска. — Погляди-ка лучше на себя! Если бы твоего мужа кто-нибудь пододвинул за дубраву, а твою дочь за Рось, а тебя в самое пекло, то, может, и между вами был бы мир.

Дело с грушей закончилось совсем неожиданно. Груша засохла, и две семьи помирились. В обеих усадьбах наконец наступили мир и тишина.

1878



СОДЕРЖАНИЕ

Леонид Хинкулов. Мастер социальной повести . . . 5

СЕМЬЯ КАЙДАША (Повесть) 17

Иван Нечуй-Левицкий

СЕМЬЯ КАЙДАША

Редактор *А. Марусич*

Художественный редактор *Г. Кудрявцев*

Технический редактор *Е. Румянцева*

Корректор *Г. Асланянц*

Сдано в набор 4/IV 1968 г. Подписано
в печать 17/I 1969 г. Бумага № 1
84 × 108¹/₃₂ — 5,75 печ. л. 9,7 усл. печ. л.
9,12 уч.-изд. л. Заказ № 1186. Тираж
50 000 экз. Цена 28 коп.

Издательство

«Художественная литература»

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Отпечатано с матриц ленинградской
типографии № 2 им. Евгении Соколовой
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР.

Ленинград, Измайловский проспект, 29
в типографии «Красный пролетарий»,
Москва, Краснопролетарская, 16
Заказ № 2091

28 коп.

